



АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ

# РОЗА ВЕТРОВ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРГОДИЕЦ

Андрей Геласимов

**Роза ветров**

ИД «Городец»

2018

УДК 82-3  
ББК 84 (2Рос=Рус)6

**Геласимов А. В.**

Роза ветров / А. В. Геласимов — ИД «Городец», 2018

ISBN 978-5-906815-06-4

«История в некотором смысле есть священная книга народов; главная, необходимая, зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил, завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего», – писал в предисловии к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин. В своем новом романе «Роза ветров» известный российский писатель Андрей Геласимов, лауреат премии «Национальный бестселлер» и многих других, обращается к героическим страницам этой «священной книги народов», дабы, вдохнув в них жизнь, перекинуть мостик к дню сегодняшнему, аналогий с которым трудно не заметить. Действие романа разворачивается в середине XIX века. А игроки на геополитической арене Истории все те же: Британия, США, Россия, Китай... И все те же глобальные интересы мирового бизнес-сообщества. Но благодаря политической обстановке в регионе, отчетливо проявленной государственной воле и личному мужеству каждого участника изначально небольшой группы флотских офицеров, объединенных под командованием капитан-лейтенанта Невельского, удалось тогда закрепить обширные территории на Дальнем Востоке за Россией. На страницах романа А. Геласимова оживают реальные герои и факты, многогранные характеры и особенное достоинство сынов России, которые во все времена приумножали ее славу и величие. Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с глобальным противостоянием в мире, подобные примеры из отечественной истории особенно актуальны и помогают с оптимизмом смотреть в будущее, тем более что описаны те далекие события с таким мастерством и таким чувством, что мы словно сами становимся их участниками.

УДК 82-3

ББК 84 (2Рос=Рус)6

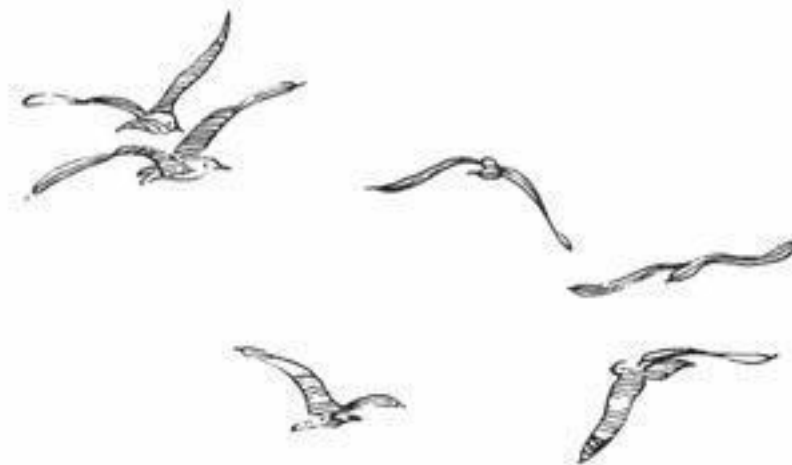
ISBN 978-5-906815-06-4

© Геласимов А. В., 2018

© ИД «Городец», 2018

# Содержание

Часть первая	7
1 глава	7
2 глава	14
3 глава	22
4 глава	29
5 глава	41
6 глава	49
7 глава	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64



## Андрей Геласимов

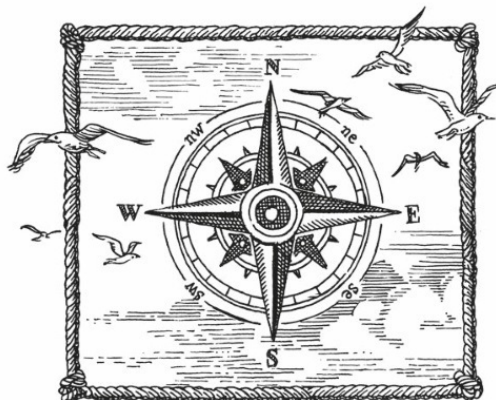
# Роза ветров

*Моему отцу, главстаршине Тихоокеанского Флота Геласимову В. А., посвящается*

*Автор выражает глубокую признательность Треушникову А.М., без которого эта книга могла и не появиться*



## Часть первая



### 1 глава



Он заметил ее практически сразу. Эту девушку трудно было не заметить. Все остальные дамы едва протискивались между кресел в своих модных кринолинах, а она скользила по оживленному партеру, как рыбка. Платье свое она, очевидно, позаимствовала у бабушки. Невельской помнил эти наивные прямые линии с тех самых пор, когда жив был еще отец и когда в Дракино по семейным праздникам съезжалась родня со всего уезда. Мужчины – в морских мундирах, а дамы – вот в таких старомодных уже тогда платьях. Новшества с широкими юбками и корсетами из Петербурга до Костромской губернии доходили неспешно.

Несмотря на то, что в театре, как, разумеется, и во всем городе, царил южный тип красоты, незнакомка выделялась даже на этом фоне. Она была похожа на тех полудиких берберских красавиц в алжирском порту, на которых лихие русские мичманы с «Ингерманланда» заворачивали головы до хруста в шейных позвонках. Об этих дикарках еще в Неаполе офицеров средиземноморского отряда предупреждал русский посланник. Он уверял, что сами себя они называют «амазиги» и что, скорее всего, имя это происходит от легендарных амазонок. Правда это или же нет – проверить не было никакой возможности, однако после стоянки в Алжире на корвете «Менелай» недосчитались трех нижних чинов, а с «Князя Варшавского» пропал гардемарин.

Сам Невельской, невзирая на свой тридцатитрехлетний возраст, в этом отношении пока еще как бы дремал. Его положение при вице-адмирале и особая роль на флагманском судне тоже не предполагали никаких излишеств такого рода, но и без того корабли для него были понятней, красивей и даже в определенном смысле женственной многих знакомых ему дам. Девушки, существа изящные и хрупкие, как фарфор, всякий раз приводили его в замешательство, словно заставляли врасплох. Он беспокоился в их присутствии тем растерянным беспокойством, которое охватит, наверное, обыкновенного, неискушенного в тонком искусстве человека, если ему вдруг вручить старинную китайскую вазу с просьбой подержать некоторое время на весу, да еще при этом сообщив ее цену. Впрочем, сам факт подобного беспокойства

говорил в пользу того, что положение дремлющего в данной сфере у Невельского должно было непременно и благополучно пройти.

Незнакомка, фраппировавшая в этот вечер Лиссабонский театр, не носила на голове и груди россыпи золотых монет наподобие роковых красоток с севера Африки, но дерзким взглядом темных маслянистых глаз очень выдавала свое дикое и не совсем уместное в опере желание быть амазонкой. Некая манерная дама в антракте попыталась выйти в буфет и застряла в дверном проеме из-за своих неимоверно широких и, очевидно, еще непривычных для нее юбок. Сопровождавший даму господин в сером фраке заметно растерялся, ибо не мог дотянуться до ее руки без того, чтобы не вторгнуться в суверенное дамское пространство, и тогда дикарка в нелепом старинном платье просто толкнула пунцовую от смущения модницу в спину, выбив ее в коридор, как пробку из узкого горла шампанской бутылки.

– Какова?! – негромко сказал Невельскому сидевший рядом с ним молодой, если не сказать юный, офицер.

– Музыка, Ваше Императорское Высочество? Я в этом мало что понимаю.

– Да-да, – усмехнулся его собеседник. – Именно музыка.

Оперу Невельской не любил. В бытность гардемарином всегда сказывался больным, если Морской корпус выводили в театр. Его угнетали помпезность интерьеров и необходимость неподвижно сидеть, скучая от всего, что происходит на сцене. Он совершенно не понимал, для чего толстым и некрасивым людям нужно ходить из кулисы в кулису с накрашенными лицами, громко при этом крича и размахивая руками. Если бы не амазонка в старомодном платье, за которой он продолжал теперь наблюдать из своего кресла, после того как снова поднялся занавес, этот вечер грозил обернуться для него жуткой скукой и затекшей, словно после тяжелой вахты, спиной. Даже когда в зале разразилась буря восторга во время хора каких-то закованных в цепи оборванцев, Невельской смотрел на девушку, а не на сцену. В отличие от всех остальных дам в театре, она была здесь одна. Кресло рядом с амазонкою пустовало.

– С ней никого, Геннадий Иванович, – внезапно как-то очень по-детски шепнул ерзавший рядом с ним офицер.

– Вы бы оперой наслаждались, Ваше Императорское Высочество. Идея, между прочим, ваша была.

Но великий князь Константин<sup>1</sup>, за которого Невельской вот уже почти десять лет отвечал перед адмиралом Литке<sup>2</sup> собственной головой, на сцену смотрел все реже. Взгляды обоих офицеров, подобно взглядам двух внимательных канониров, словно прикидывали расстояние и траекторию до цели, нащупывая в ее борту уязвимое место. Девушка наконец ощутила это внимание, и голова ее, слегка вздрогнув, повернулась в их сторону. Константин, которому полгода назад исполнилось восемнадцать и который во взглядах ровесниц привык видеть лишь смиренное почтение, наткнулся вдруг на такую насмешливость и такой вызов, что у него перехватило дыхание. Дикарка смотрела на него ровно и прямо, как будто они были не в театре, а встретились неожиданно где-то в лесу, выйдя с разных сторон на залитый солнцем просвет между деревьями. Сидевший на пересечении их взглядов пожилой мужчина с густыми длинными бакенбардами обернулся и осуждающе покачал головой, но Константин лишь слегка отклонился влево, чтобы бакенбарды не заслоняли ему насмешливый взгляд амазонки.

– Опера, Константин Николаевич, – негромко сказал Невельской. – Мы пришли слушать оперу...

На сцене тем временем завязалась возня с протяжными воплями – оборванцы в цепях вырвались на свободу и мутузили теперь почему зря бывших своих порабитителей. Однако и

---

<sup>1</sup> Великий князь Константин Николаевич (1827–1892) – сын императора Николая I. Младший брат императора Александра II. Выдающийся государственный деятель. Совершил около 50 морских экспедиций. Воспитанник Геннадия Невельского.

<sup>2</sup> Литке Федор Петрович (1797–1882) – мореплаватель, дважды обогнувший земной шар, исследователь Восточной Арктики, адмирал, президент Петербургской академии наук, один из основоположников Русского географического общества.

это оживление было не в силах отвлечь юношу. Он продолжал переглядываться с амазонкой, которая демонстративно развернулась к нему всем корпусом, явно не желая уступать в этой игре.

Невельской обвел взглядом партер, а следом за ним – ложи. Никто, кроме старика с бакенбардами, казалось, не обращал внимания на юного русского офицера и странную девушку. Все были поглощены шумной возней на сцене. Облегченно вздохнув, Невельской откинулся в кресле и прикрыл глаза. Театр с его многоярусными балконами напомнил ему линейный корабль. Это успокаивало, убаюкивало, и даже громкая музыка стала звучать как-то понятней.

Мерцающие в полутьме фонари, обрамлявшие королевскую ложу, вызывали в памяти сигнальные огни на корме «Ингерманланда», и от этого Невельской почувствовал себя отчасти как дома.

Впрочем, уже в следующее мгновение он вспомнил о предшественнике нынешнего линкора и помрачнел. Предыдущий корабль с этим именем был спущен на воду всего три года назад, но разбился на скалах у берегов Норвегии в первый же свой поход. Выйдя из верфи в Архангельске, он не дошел даже до Кронштадта. За те сутки, что его полузатонувший остов мотало штормом в пятнадцати милях от норвежского берега, из девятистот человек команды и пассажиров погибло почти четыреста. Среди погибших оказались едва не все находившиеся на борту женщины и дети. По рассказам выживших, многие из несчастных от отчаяния, жажды и невероятной усталости сами бросались в воду с облепленных людьми вант бизань-мачты<sup>3</sup>, которая на долгие часы оставалась последней частью корабля над поверхностью моря. Судно больше суток продержалось в таком положении из-за множества пустых бочек в трюме. Если бы их там не было, в ту ночь погибли бы все девятьсот человек.

Очевидцы рассказывали, как волнами, бьющими уже через палубу, сорвало с креплений и бросило на шканцы<sup>4</sup> баркас, который сразу убил несколько десятков человек. Десятилетняя дочь полковника Борисова, отдаленно знакомого Невельскому по встречам в Морском министерстве, при попытке перехода на корму запуталась длинной косой в железной уключине разбитого баркаса и в считанные минуты была измочалена о палубные надстройки и рангоут<sup>5</sup>. Говорили, что она сильно кричала, а тех, кто пытался ее спасти, разлетавшимся во все стороны рангоутом кромсало на части, как гильотиной.

Вспомнив об участи бедной девочки, Невельской склонил голову и сдавил пальцами виски. На сцене к этому моменту все уже складывалось благополучно. Какую-то женщину со злодейской наружностью, строившую до этого все главные козни, наконец поймали и привели на покаяние к тем, кто раньше был в цепях.

Невельской снова оглядел притихший театр и представил, как его, словно огромный трюм, наполняет вдруг хлынувшая во все двери ледяная забортная вода: театр, тяжело заскрипев, накреняется, из лож начинают выпадать цепляющиеся за перила любители оперы, дамы в раздувшихся кринолинах до поры до времени всплывают на них, как на поплавах, но уже через несколько минут бесчисленные юбки их промокают и неумолимо тянут вниз – туда, где скрылись под густой темной толщей кресла партера. Мужчины еще умудряются некоторое время держаться на плаву, однако лепной потолок со сверкающей люстрой все ближе, воздуха все меньше, и, наконец, театр, потерявший остойчивость, переворачивается килем вверх, и с

---

<sup>3</sup> Бизань-мачта (*нидерл. bezaansmast*) – кормовая мачта на многомачтовых парусниках.

<sup>4</sup> Шканцы (*нидерл. schans*) – самый верхний помост или палуба в кормовой части парусного судна, где находились вахтенные офицеры. Шканцы считались почетным местом на корабле: там зачитывались перед строем манифесты, приказы, приговоры.

<sup>5</sup> Рангоут (от *нидерл. rondhout*, *букв.* – «круглое дерево») – предметы парусного вооружения кораблей – мачты, стеньги, реи, гафель и др. Предназначен для постановки и несения парусов (флагов, сигналов и др).

кресел, оказавшихся теперь наверху, на головы тех, кто сумел вынырнуть, низвергаются тонны воды и десятками валяются трупы захлебнувшихся в первые мгновения на своих местах.

К терпящему бедствие линейному кораблю тогда подошел бриг под английским флагом. Несчастные подумали, что спасение рядом, но британец развернулся и ушел прочь. У английского капитана было свое представление о морской чести.

Старые матросы говорили потом, что крушение послужило наказанием командиру Трескину за излишнюю жестокость. За годы своей службы он нехорошо прославился по всему Балтийскому флоту истязаниями нижних чинов. Однако при чем здесь десятилетняя девочка и остальные четыреста человек, суеверные матросы не уточняли. Сам капитан первого ранга Трескин и его жена остались после того крушения живы.

Невельской задумался о наказанных им лично подчиненных. Выходило, что только в этот поход он распорядился как минимум о семи экзекуциях. В результате одной из них матроса лечили потом четыре дня. Пытаясь припомнить его имя, он понял, что не помнит даже провинности. Судя по всему, это было что-то не очень значительное, скорее всего символическое – вроде плевка на палубу или случайного заступа на правые шканцы. Вспомнить точнее он так и не смог. Нижние чины, как и крепостные в имении матери, были для него не совсем люди. Во время отпуска в Дракино перед присвоением первого офицерского чина он искренне удивился, узнав о любовных страданиях дворовой девушки. До этого он был абсолютно уверен, что дворовые могут испытывать лишь голод, жажду, потребность что-то украсть и нужду в отправлениях физиологии. Сенная же девка его матери в ту снежную зиму 1836 года реально и вполне ощутимо страдала, влюбившись в кого-то, словно она была настоящий, сотканный из обычных чувств и переживаний человек.

О смерти этой утопившейся в проруби девушки Невельской еще целый год потом время от времени размышлял, пытаясь уяснить для себя как природу страдания, так и приоткрываемые этим страданием врата смерти, и все никак не мог примириться с мыслью о конечности своего собственного бытия, пока не узнал поближе служившего рядом с ним на флагманском фрегате «Беллона» боцмана по фамилии Андрюшкин. Несмотря на самое что ни на есть мужицкое происхождение, боцман отличался ясно выраженной склонностью к философии. Книг при этом он никаких не читал – и не то что с философскими, но даже и с бульварными романами наподобие «Прекрасной Шарлотты, страшной атаманши» замечен никогда не был. Свою концепцию жизни и смерти он выработал исключительно сам.

В оркестре неожиданно заколотили в литавры, и Невельской вышел из глубокой задумчивости. Кресло великого князя рядом с ним пустовало. Даже не успев удивиться, он машинально поднялся со своего места и завертел головой. Константин, бормоча извинения и убирая в карман лорнет, пробирался к выходу метрах уже в десяти от него. Невельской тут же двинулся следом. Параллельным курсом, но значительно ближе к двери прокладывала себе путь через кринолины и раздраженные возгласы амазонка в старомодном платье. Великий князь явно спешил за ней. На сцене тем временем толпа орущих людей принуждала злодейку выпить яд из огромного, как ведро, кубка.

Раз или два Невельской наступил кому-то на ногу, кто-то в ответ ощутимо его толкнул, однако он упрямо не сбавлял шаг. Отпустить императорского сына одного в чужой столице было нельзя. Это исключалось абсолютно. Возвращение на корабль без Константина было равносильно потере «Ингерманланда» и обоих корветов, вместе взятых. Весь русский отряд, около полутора тысяч матросов, мичманов и офицеров, без этого юноши не имел ни малейшего смысла. Их всех собрали и отправили в Средиземное море только ради него одного. Здесь в Лиссабоне он сейчас, собственно, и был Россия. Даже это посещение театра вдвоем да еще совершенно инкогнито уже являлось крупным нарушением всех приказов вице-адмирала Литке и протоколов об официальном приеме членов российского императорского дома порту-

гальским двором. Однако великому князю приспичило в оперу. И непременно так, чтобы ни на корабле, ни в Лиссабонском правительстве никто об этом не знал.

– Тоже мне, Гарун аль-Рашид... – бормотал себе под нос Невельской, сражаясь изо всех сил на выходе из зала с тяжелой портьерой, в которой он запутался и все никак не мог нащупать за ней дверь. – Да что же это такое!..

Пробежав через пустынное фойе, где звонким эхом отдавались только его шаги, Невельской выскочил из театра под арочные своды балкона. Небольшая, плохо освещенная площадь раскрылась перед ним как ладонь – вокруг ни души. Укрыться здесь было просто-напросто негде. По периметру довольно тесно стояли четырехэтажные дома. Слева от замершего в арке Невельского куда-то наверх уходила каменная лестница. Там, очевидно, был променад, засаженный деревьями и цветами. Именно оттуда растекались по всей площади волны такого благоухания, что морской офицер, привычный лишь к запаху просоленной насквозь древесины, в ошеломлении на секунду замер. Когда они с великим князем вечером входили в театр, эти южные ароматы не были так сильны, однако потом, судя по всему, обильно прошел дождь, и душная в местных широтах весенняя ночь теперь была пропитана благовониями сильнее, чем кринолины у дам в театре. Со стороны недалекой отсюда гавани долетал родной запах моря.

По правую руку от Невельского на площадь выходила неширокая аллея, куда Константин вполне мог последовать за приманившей его амазонкой, однако сейчас аллея была тесно заставлена экипажами, ожидавшими конца представления. Сделав несколько шагов по залитым водой плитам в сторону небольшого квадратного водоема посреди площади, Невельской в нерешительности замер, потом обернулся и зачем-то посмотрел на балкон над входом в театр, как будто исчезнувший юноша мог в считанные секунды забраться туда вслед за дикой беглянкой. Разумеется, там никого не оказалось, если только великий князь со своей шалуньей не решили спрятаться от Невельского, присев за массивную балюстраду. В темноте позади пузатых балясин их действительно трудно было бы разглядеть.

Понимая, что этого ни в коем случае не может быть и что поступает он так из одного лишь отчаяния, Невельской тем не менее взбежал по каменной лестнице на променад, чтобы оттуда взглянуть на балкон, и, естественно, никого там не увидел. На самом променаде среди бесчисленных платанов и клумб в этот час тоже не было ни единой живой души. Черные квадратные плиты внизу маслянисто блестели, отражая газовые огоньки двух фонарей. Все было неподвижно на этой площади, как в склепе.

Внезапно один из экипажей, стоявших в боковой аллее, тронулся с места. Мерно и звонко стуча подковами по камню, лошади вывезли изящную карету с большими окнами на площадь перед театром. Черная вода под колесами ожила и запестрила десятками раздробленных огоньков. Невельской сломя голову бросился по лестнице вниз. Выбежав на мокрые плиты, он через несколько шагов поскользнулся, но привычка держать равновесие во время качки даже на мокрой палубе выручила его. С раскинутыми в стороны руками, словно собираясь лететь, он скользнул по плитам, как по льду, и вскочил на запятки. В экипаже никого не было. Заглянув туда через оконце в задней стенке кареты, разочарованный Невельской спрыгнул на влажную брусчатку, начинавшуюся у самой кромки театральной площади. Нога его попала в расщелину между двумя крупными камнями, подвернулась, и он неловко упал набок, сильно ударившись при этом локтем.

Расколотый кусок гранита, который подвел русского моряка, десятки тысяч лет назад был раскаленной базальтовой магмой, вышедшей на поверхность в районе современного Порту. Магма затем кристаллизовалась, минералы в ней обогатились кремнием, калием, натрием, и в итоге получились великолепные гранитные скалы. Они спокойно и величаво стояли на севере Португалии до тех самых пор, пока счастливому королю Мануэлу I не осточертела непролазная грязь на улицах его города, и он издал указ о том, чтобы каждый приезжающий в Лиссабон со стороны Порту привозил с собой по хорошему куску гранита. Те, кто не удосужился прихватить

по дороге камень, платили в городскую казну штраф. На эти деньги были наняты каменотесы, замостившие первые улицы брусчаткой. В числе нанятых рабочих был и тот, который занимался мостовой между нынешним театром Сан-Карлуш и гаванью. Накануне дня рождения короля он очень спешил, потому что именно по его участку должны были провести носорога, подаренного королю великим Афонсу ди Албукерки. Ни одна капля грязи из-под тяжелых ног заморского чудовища не должна была оскорбить короля. Спешка и бесконечные понукания привели к тому, что один из кусков гранита раскололся от удара гигантским молотком. Невезучий работяга был изгнан, не получив ни реала в уплату за труд и не увидев «единорога», о котором судачил весь город, а русский офицер, неудачно спрыгнувший с запяток пустого экипажа лет через триста после носорожьего представления, угодил правой ногой в эту самую трещину.

Если бы всего этого не случилось, история России, Европы и – как следствие – всего остального мира пошла бы иным путем, нежели тот, который определился в середине девятнадцатого столетия. Неловкое падение лейтенанта Российского императорского флота на лиссабонскую брусчатку поздним апрельским вечером 1846 года имело самые серьезные последствия. Если бы Невельскому удалось устоять на ногах, Америка, могло стать, не получила бы своих северо-западных территорий или получила бы их значительно позже – и тогда не было бы никаких «Золотых лихорадок» ни на Клондайке, ни на Аляске, что в свою очередь не привело бы к стремительному развитию этого региона и заметному усилению американского военного присутствия в северной части Восточного океана. В России в 1861 году, возможно, не было бы отменено крепостное право, а Дальний Восток – от китайской границы на юге до Охотска на севере – оказался бы под контролем Британской Ост-Индской компании на тех же приблизительно основаниях, что Гонконг и Сингапур. На географических картах не появились бы ни Владивосток, ни Хабаровск. Дальневосточная пушнина, золото и сахалинский уголь окончательно бы утвердили за Британией статус мирового экономического лидера, и тогда двадцатый век, очевидно, тоже складывался бы по-другому.

Но Невельской из-за куска отколотого гранита устоять на ногах не сумел, в силу чего беззаботный сын Николая I в итоге остался жив, приняв потом самое деятельное участие в передаче Аляски Северо-Американским Соединенным Штатам, в реформе, отменившей крепостное право, а также косвенным образом – то есть самим фактом, что спас его в эту ночь именно лейтенант Невельской – в освоении русского Дальнего Востока. Хорошо это или же плохо – судить не людям. Человеческое суждение затуманено помехами корысти, тщеславия и неизбежного страха перед краткостью жизни. Все сложилось именно так, как сложилось и как, очевидно, должно было сложиться.

Упавший на брусчатку Невельской зашипел от боли, схватился за ногу и поднялся с мостовой далеко не сразу. Этого времени хватило на то, чтобы экипаж, удалявшийся от него в сторону гавани, доехал до расположенного приблизительно в сотне метров арочного проема и остановился рядом с ним. Из темноты арки к двери кареты скользнула закутанная в салоп женская фигурка. Несмотря на довольно бесформенную верхнюю одежду, Невельской уверенно определил в ней ту самую незнакомку, за которой увязался Константин. Под салопом не топорщились кринолины. Ткань свободно ниспадала вниз по фигуре. Единственной дамой без кринолинов, встреченной Невельским в этот день в Лиссабоне, была берберская амазонка из театра. Если бы он спрыгнул удачней и сразу ушел с этого места, она уехала бы незаметно.

Преодолевая боль в подвернутой ноге, лейтенант поднялся с брусчатки и похромал, как мог торопливо, в сторону арки, от которой уже отъехал увозивший искусительницу экипаж. В глухом и очень темном дворе Невельской остановился. В какую из дверей мог войти великий князь, было неясно.

– Константин Николаевич, – негромко на всякий случай позвал он. – Ваше Императорское...

От огромного дерева в глубине двора отлепилась человеческая фигура.

– Геннадий Иванович? А вы что здесь делаете? Возвращайтесь на корабль. Я позже приеду.

– Слава Богу... – выдохнул Невельской, но тут же пошатнулся.

– Что с вами? – Константин схватил его за руку.

– Ничего, пустяки... Вы должны немедленно уйти отсюда.

– Нет, нет... – Великий князь замотал головой и отступил обратно под прикрытия дерева, словно хотел спрятаться там от надоедливого наставника. – Я не могу. Мне сейчас дверь откроют.

– Какую дверь, Константин Николаевич? Нет никакой двери.

– Вот эту! – настаивал юноша, указывая на обложенный грубым камнем дверной проем. – Она сказала, что войдет через парадное и откроет мне черный ход. Чтобы отец не увидел.

Невельской шагнул под сень дерева. Лица своего подопечного он не видел, но слышал его взволнованное дыхание.

– Никуда не пойду, Геннадий Иванович. Даже не просите.

– Она не откроет.

Юноша затаился.

– Вы почему знаете?

– Она уехала. На улице ее ждал экипаж.

Великий князь помолчал, но потом все же решил удостовериться:

– Вы правду мне говорите?.. Или Федора Петровича опасаетесь?

– Опасаюсь. Но она уехала. Я сам только что видел. Надо уходить отсюда без промедления.

За спиной у него послышались шаги нескольких человек. В арку с улицы входили весьма решительные, судя по звукам, мужчины.

## 2 глава



В силу долгой службы на кораблях Балтийского флота в ближайшем окружении великого князя Константина, который был определен императором в моряки еще в пятилетием возрасте, Геннадий Иванович Невельской привык встречать в своей повседневной жизни людей, облеченных самым высоким положением в Российской империи. Почти все эти люди, как он успел заметить еще в самые ранние годы офицерской службы, отличались той или иной странностью, а некоторые из них – сразу двумя, а то и тремя. Иной не отвечал на приветствие, если здоровался с ним человек с рыжими волосами. Другой, поднимаясь по трапу, намеренно не смотрел себе под ноги, отчего непременно запинался и часто бывал огражден от падения лишь тем, что вахтенный офицер знал об этой его особенности и держал наготове свободного матроса. Третий не переносил, когда к нему приближался кто-нибудь из нижних чинов, чего не всегда можно было избежать при законной тесноте на палубе военного судна. Подобных странностей было не счесть, и отличались ими, как правило, особы действительно высокого ранга.

Задумываясь порой в часы томительных ночных вахт о причине такового совпадения, Невельской постепенно пришел к выводу, что все эти сановники, адмиралы и царедворцы приобретали свои причуды и завихрения под грузом той самой власти и той самой ответственности, которая эполетным золотом лежала у них на плечах. Тяжесть эта, судя по всему, давила на них чрезвычайно, а потому слегка не свихнуться, не тронуться немножко умом было для них невозможно. Единственным при всей полноте власти, кого участь эта обошла стороной, оставался сам Константин. Могущество, почти вседозволенность, право решать людские судьбы, казалось, ничуть не изменили его сначала детской, а потом юношеской природы. В отличие от большинства придворных его отца, он оставался абсолютно нормальным человеком. Вне парадной обстановки Константина невозможно было бы отличить от любого другого мальчика его возраста, образования и того же круга жизненных интересов. Масса власти, которой он обладал, не смогла раздавить его, потому что ему не надо было привыкать к ней. Он воспринимал ее как естественное продолжение своей физической сущности и по этой причине оставался естественным. Остальных же – тех, кто вздымался к своему нынешнему положению по шапочку, по ступеньке, по чужой голове, – она расплющила и покорежила по той простой и очевидной причине, что власть одного человека над другим сама по себе неестественна, и чтобы принять ее, изначально ею не обладая, надо многим в себе пожертвовать.

Спустя двое суток после отхода из Лиссабона Константин удивил своего наставника неожиданным вопросом о смерти. Вопрос этот был задан в столь непосредственной и совсем не подходящей к его сути обстановке, что Невельской даже слегка растерялся. Естественность великого князя превосходила все предположения, которые могли возникнуть на этот счет.

– А признайтесь, Геннадий Иванович, что вы все же боитесь умереть, – сказал Константин, глядя на четырех забавных поросят, носившихся в дощатом загоне рядом с кормовой крюйт-камерой<sup>6</sup> в трюме корабля.

Живность для офицерского стола была закуплена еще в марокканском Танжере, и теперь от нее остались эти слегка подросшие свинки, с десятков уток и столько же кур. В Португалии

<sup>6</sup> Крюйт-камера (*нидерл. kruidtkamer*, от *kruidt* – «порох», и *kamer* – «комната») – на кораблях место хранения пороха.

запас решили не пополнять. Солонины на борту было предостаточно, а для того, чтобы разнообразить меню свежим мясом, этих «даров Магриба», как называл их офицер, которому был поручен главный надзор за трюмом, должно было хватить ровно до Портсмута.

– Вы за этим сюда спустились, Константин Николаевич? Чтобы о смерти поговорить?

Великий князь наклонился к пробежавшему мимо поросенку и успел прихватить его за торчавшее подобно треугольному стакселю ухо.

– А почему нет? У вас ведь все равно теперь много свободного времени образовалось.

Невельской позволил себе нахмуриться. Здесь, в полутьме трюма это вряд ли было заметно. После происшествия в Лиссабоне его действительно отстранили от некоторых привычных обязанностей на корабле, хотя Константин уверял, что ни словом не обмолвился адмиралу об этом случае.

– Смотрите, у них уши как паруса! У этого стаксель<sup>7</sup>, а вон тот кливера<sup>8</sup> распустил как на бушприте<sup>9</sup>. . . И все они будут съедены.

– Так точно. Причем с превеликим удовольствием, Ваше Императорское Высочество.

– Так что же вы думаете о смерти? – выпрямился Константин. – У меня осталось впечатление, что там, возле театра, вы совершенно не испугались. То, что вы сделали с этими людьми. . .

– Я бы предпочел не говорить об этом, – мягко остановил его Невельской.

– Хорошо. . . Но ведь не может такого быть, чтобы вы не испытали тогда страх. Признайтесь, что вам тоже сделалось не по себе. Только вы виду не подали.

– Не подал, – кивнул Невельской. – Не положено.

– Но сами-то испугались?

– Никак нет.

– Да бросьте вы этот тон, пожалуйста. – На лице великого князя мелькнула недовольная гримаса. – Я ведь серьезно вас спросил. Мне важно. Вы понимаете?

Невельской внимательно посмотрел в глаза юноше и не увидел в них ни тени насмешливости. Тот на самом деле пытался решить для себя приступивший к нему глубокий вопрос.

– Хорошо, – вздохнул Невельской. – Однако ответ может показаться вам долгим.

– Не томите, Геннадий Иванович. Или вы себе цену набиваете?

– Нет, – спокойно пожал плечами тот. – Просто придется рассказать вам об одном боцмане.

– Боцмане? – удивленно поднял брови Константин.

– Да. Он служил с нами на фрегате «Беллона». Вам тогда было, кажется, девять лет. Андрюшкин его фамилия. Возможно, вы его помните. У него вот здесь, – Невельской указал на правую сторону своей шеи, – была татуировка. Небольшой тритон и копьё.

– А! Конечно же помню! – Юноша даже всплеснул руками. – Он драться очень любил.

– И это тоже.

– Ну? А почему вы про него вдруг заговорили?

– У него был самый лучший ответ на ваш вопрос.

– По поводу страха?

– Совершенно верно. Боцман Андрюшкин с фрегата «Беллона» разгадал тайну жизни и смерти.

Юноша помолчал, слегка хмуря брови, а затем обиженно вздернул подбородок:

– Это вы меня сейчас дразнить изволите?

---

<sup>7</sup> Стаксель (*нидерл. stagzeil*) – парус треугольной формы.

<sup>8</sup> Кливер (*нидерл. kluwer*) – косой треугольный парус.

<sup>9</sup> Бушприт (*нидерл. boegspriet*, от *Boed* – «изгиб», «искривление», и *spriet* – «шест») – передняя мачта на судне, лежащая наклонно вперед.

– Даже в мыслях не было, Ваше Императорское Высочество.

Боцман Андриюшкин, служивший на «Беллоне», а до этого на легендарном «Азове», отличался не простым равнодушием к смерти, а каким-то отчаянным к ней презрением. В самый лютой шторм он гнал матросов на ванты<sup>10</sup> так остервенело и так безжалостно, как будто нарочно ждал этого и как будто со смертью у него были свои незакрытые счета, а матросскими жизнями он просто желал расплатиться с ней. При этом ни одна душа на борту не смогла бы обвинить боцмана в неуважении к смерти. Напротив, стоило на фрегате объявиться покойнику – из-за холеры или какой-нибудь другой корабельной напасти, – Андриюшкин пуще всех следил, чтобы все было сделано по чину.

Матросы его боялись, офицеры не любили. Несмотря на то, что боцман он был исправный, не любить его у офицеров имелись особые причины. В двадцать седьмом году, когда он служил на «Азове» и когда русская эскадра пошла воевать за свободу греков с османами и египетским Ибрагим-пашой, по пути в Наваринскую бухту с мачты сорвался матрос. Мичман Домашенко, только сменившийся с вахты, увидел мелькнувшее за окном его каюты тело и, как был, в это же окно с огромной высоты, не думая, прыгнул за борт. Не будь ему всего девятнадцать, он бы, наверное, все-таки немного подумал, однако в таких счастливых летах человеколюбие еще сильно переплетается с дерзостью, и мичману показалось, что он превозможет, что он сладит, преодолет. Но он не превозмог. Шлюпка с теми, кто спешил им на помощь, из-за шквального ветра и волнения подошла слишком поздно. Оба моряка тихо легли на гостеприимное дно совсем недалеко от Сицилии.

На «Азове» по усопшим грустили и в матросском кубрике<sup>11</sup>, и в офицерской кают-компании. Один только Андриюшкин не горевал. Собратьев по нижней палубе он уверял, что в смерти дурного ничего нет, а наоборот – это жизнь испытывает человека всевозможными гадостями и страданием. Беды все, по его мнению, происходили по причине отдельности одного человека от другого. Стоит человеку родиться, считал Андриюшкин, и вот он уже – «сам», вот он уже – «я», и никуда от этого «я» бедному человеку не деться. Поэтому каждый на белом свете за себя, и никто ни с кем договориться не может.

– Вот возьми хотя бы каплю, к примеру, – толковал он перед притихшей, насупившейся толпой матросов. – Она пока в море – она же не знает, что она капля. Думает ведь, наверное, что она, брат, и есть море. И ладно ей морем-то быть. Оно ж вон какое, краев ему не видать. А потом ее раз – ветерком или веслом там на палубу, и вот она уже все – отдельная, понимаешь. Лежит, на солнце сверкает, в голову себе много чего берет. Думает, небось, ишь я какая, переливаюсь, красоты во мне пудов не измерено. Вот так и человек – взял себе и родился. Тоже отдельным стал. Но капля – она ведь и есть капля. Палубу ветром обдуло – и нет ее. Все – высохла, испарилась.

Тем из матросов, которые аллегорий его не разумели, Андриюшкин уже прямо разъяснял, что смерти бояться не надо, а если кто-то по глупости в непонимании своем упорствовал, он просто бил его кулаком по лицу.

Со временем через офицерских вестовых эта странная философия просочилась до кают-компании, однако и там ее никто особо не оценил. Мичмана Домашенко на «Азове» любили, а после его самоотверженного поступка вокруг памяти о нем сложился до известной степени культ. Юношу всем было жалко до слез, и поэтические рассуждения одного из нижних чинов не нашли поклонников среди тех, кому вот-вот предстояло вести команду в тяжелое сражение. Матросы же за спиной у Андриюшкина коротко и ясно говорили про него:

– Гадина.

---

<sup>10</sup> Ванты (*нидерл. want*) – снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются мачты.

<sup>11</sup> Кубрик (*нидерл. koebrug*) – общее жилое помещение для судовой команды.

Через месяц после гибели двух моряков у Сицилии русские корабли в составе объединенной с англичанами и французами эскадры приняли очень неравный бой в Наваринской бухте, и в самый критический момент Андриюшкин уберег весь «Азов» от поражения именно потому, что не ставил смерть ни во что.

Российский флагман, стоя правым бортом к неприятелю, принимал огонь сразу пяти турецких и египетских фрегатов. Командир носовой батареи лейтенант Павел Нахимов говорил потом, что, если бы османы колотили не по рангоуту, а в корпус, «Азов» потерял бы больше половины команды. Но выстрел с русского корабля перебил грот-мачту<sup>12</sup> на одном из турецких судов, и оно сильно накренилось. От этого чужие ядра пошли намного выше намеченной траектории. Накренившийся турок вскоре ушел с линии огня, однако место его тут же занял свежий фрегат из османского резерва. Обрушившийся на правый борт «Азова» шквал ядер, кннпелей<sup>13</sup> и картечи повредил лафеты<sup>14</sup> сразу у трех орудий. Пушки эти перестали откатываться внутрь нижней палубы и замерли стволами наружу. Зарядить их для нового выстрела не было никакой возможности. «Азов» потерял некоторую часть огневой мощи с правого борта. Разворачиваться к противнику левым бортом означало при этих условиях погубить корабль. Османы за время такого маневра отправили бы наш флагман на дно.

Вот в этот момент Андриюшкин, не дожидаясь никакого приказа, обвязался веревкой и спустился с верхней палубы по внешнему борту на узкий карниз, расположенный под пушечными портами. Для турецких канониров он был как жук на мягкой подушечке, которого надо только прищипить булавкой – и выйдет отличный экспонат в коллекцию натуралиста. Щепка от бортов летела во все стороны, секла его не хуже картечи. Раскаленное железо с воем рвало обшивку. Смерть ходила вокруг ходуном.

Андриюшкин под этим огнем безмятежно, словно никакого боя и не было, дождался, когда ему спустят заряды, снарядил ими все заклинившие на лафетах орудия, и вторым уже выстрелом канониры с «Азова» каким-то чудом угодили в кюйт-камеру турка. Османский фрегат праздничным фейерверком разнесло по всей бухте, Андриюшкин же, вернувшись на палубу, первым делом огрел матроса, который сдуру полез к нему обниматься, вместо того чтобы поливать из ведра, как было приказано, тлевший от вражеского огня настил.

Закончив свой рассказ об отчаянном бесстрашии боцмана, Невельской оглянулся и посмотрел в сторону трапа, который вел на верхнюю палубу. Однако великий князь явно не спешил покидать трюм.

– Какая удивительная история, – задумчиво сказал он. – И какой удивительный человек... Хотя, помнится, матросов он бил действительно очень жестоко... Но, вы знаете, Геннадий Иванович, слушая вас, вот эту его *conception* о нераздельности всего сущего до момента рождения и после смерти, знаете ли, о чем я подумал?

– Никак нет, Константин Николаевич. О чем же?

– Я подумал, что это многое объясняет.

– Что, например?

– Ну... Потребность человека в любви. И не только в любви – даже в обыкновенной дружбе... Не потому ли нам отвратительно одиночество, что в глубине души мы не желаем быть отдельными существами? Отдельными друг от друга. Что, если мы невольно скучаем по тем временам, когда все мы были единым целым – тем самым морем, к примеру, о котором толковал этот ваш удивительный боцман? Вы не задумывались об этом?

---

<sup>12</sup> Грот-мачта (*нидерл. main mast*) – обычно вторая мачта, считая от носа судна.

<sup>13</sup> Кннпель (*нидерл. knuppel*) – артиллерийский снаряд, состоявший из двух чугунных цилиндров, ядер или полуядер, насаженных на концы железного четырехгранного стержня. Применялся для разрушения мачт, реев, вант, снастей и пр.

<sup>14</sup> Лафет (*нем. lafette*) – станок на колесах, на котором устанавливается артиллерийское орудие.

– Не приходилось, Ваше Императорское Высочество. Мне кажется, нам пора наверх. Скоро к обеду свистеть будут.

– Да-да, конечно, сейчас пойдем. Но... Не могли бы вы уделить мне еще минуту?

Лицо Константина переменилось из мечтательного в практическое, и Невельской понял, что весь разговор о предметах поэтических и потусторонних был всего лишь предлогом и что вот только теперь великий князь будет говорить о важном – о том, ради чего они, собственно, уединились подальше от чужих ушей.

– Я хотел спросить: что вы думаете об этом господине Семенове?

Невельской отозвался не сразу.

– А что я должен о нем думать, Ваше Императорское Высочество?

Константину не понравилась уклончивость наставника, и он стал выделять слова особенно отчетливым тоном, каким всегда говорил его отец, желая показать, что недоволен своим собеседником.

– Не кажется ли вам его появление на корабле в некоторой степени странным?

Этот загадочный господин Семенов действительно возник словно из ниоткуда. В Лиссабоне он взошел на борт перед самым отходом. Более того, подъем якорей на флагмане был задержан почти на два часа, как будто весь отряд русских кораблей ждал одного этого невзрачного штатского человека. Скрывшись в определенной ему каюте, ради чего пришлось потеснить двух лейтенантов, он почти не показывался в кают-компаниях. Обедая в обществе вице-адмирала, с остальными офицерами только здоровался, на палубе появлялся много-много что на десять минут. Морские красоты, по всей видимости, господина Семенова не волновали.

– Его и в списки велено не вносить, – продолжал великий князь. – И на довольствие он не поставлен. Вам Федор Петрович говорил о нем что-нибудь?

– Я не в том положении, чтобы командующий отрядом обсуждал со мною своих гостей.

Константин пожал плечами:

– А я, знаете ли, его спросил.

– И что господин вице-адмирал?

– Ничего. Просил только английским чиновникам в Портсмуте о присутствии этого человека не сообщать. Но пуше всего просил не говорить о нем с русскими. Вот это и есть самое странное, Геннадий Иванович. Вы не находите? Почему о господине Семенове нельзя знать русскому посланнику в Лондоне? То есть его как будто и нет на борту И еще, вы знаете... – Константин понизил голос, хотя услышать его здесь, в трюме, могли только притихшие теперь куры и поросята. – Я сегодня увидел его на полуюте<sup>15</sup>, решил поговорить с ним, так он ведь не сразу на свое имя отозвался. Что, если этот господин вовсе даже и не Семенов?

Невельской развел руками:

– Быть может, он просто задумался.

– Вы так считаете?! – пылко возразил Константин и набрал уже воздуху полную грудь, чтобы продолжать спор, но над головами у них в этот момент засвистела боцманская дудка, тут же послышались команды и следом за ними – топот нескольких десятков ног.

– Что это? – прервал сам себя великий князь.

– Аврал... – Невельской поднял голову и посмотрел в темный потолок у себя над головой, словно мог видеть через толстые доски. – Кажется, к маневру готовимся.

На палубе их встретили мощным ударом яркое солнце, пронизывающий атлантический ветер и окрики младших командиров. Могучее общее движение, охватившее корабль, уже успело сказаться на его курсе, словно невидимая огромная рука повернула его на восток, и палуба под ногами приняла ощутимый крен вправо. Вершина грот-мачты, рядом с которой стояли оба офицера, заметно отклонилась от вертикали, отчего матросы, ловко карабкающиеся

---

<sup>15</sup> Полуот – возвышение корпуса над верхней палубой в корме корабля.

по вантам, делали свое дело уже не над их головами, а, собственно, над бездной. Они парили над волнами подобно необычной стае каких-то летучих морских обезьян – цепких, невероятно быстрых и абсолютно бесстрашных.

– Смотри, куда прешь! – крикнул Невельской толкнувшему его матросу, который пробежал мимо.

Тот на ходу обернулся, и, несмотря на внезапную подслеповатость после темного трюма, Невельской узнал наказанного им незадолго перед стоянкой в Лиссабоне за какую-то провинность нижнего чина. Именно его имя он пытался припомнить недавно в театре. Во взгляде матроса полыхнула такая ненависть, что Невельской едва не физически ощутил от нее ожог.

– Что происходит? – крикнул великий князь стоявшему на шканцах вахтенному офицеру. – Где Самуил Иванович?

Офицер указал в сторону полубака<sup>16</sup>, где командир «Ингерманланда» горячо спорил о чем-то с таинственным господином Семеновым.

Капитан 2 ранга Самуил Иоаннович Мофет происходил из шотландцев. Отец его, служивший в юности мичманом на британском флоте, был принят в русскую службу при императрице Екатерине Великой. И сам Невельской, и великий князь Константин Николаевич несли службу под его началом на разных кораблях уже добрый десяток лет, начиная с фрегата «Беллона». Федор Петрович Литке, лично ответственный перед императором за воспитание Константина, все это время поднимал свой флаг на том судне, которым командовал Мофет.

В эту минуту даже с расстояния практически в двадцать метров, отделявшего обоих офицеров от полубака, было отчетливо видно, что кровь неистовых горцев, помноженная на темперамент варяжских берсерков, вот-вот закипит в командире «Ингерманланда». Густой рыжий волос, произраставший обильно по всей его голове, физиономии, а также и телу, стоял дыбом буквально в каждой точке своего произрастания. Еще чуть-чуть – и вся эта буйная щетина от возмущения должна была пробиться прямо через сукно на рукавах его капитанской тужурки, окончательно обратив командира корабля в разъяренное доисторическое чудовище.

Вследствие неожиданной перемены курса корабль шел теперь почти в полный бейдевинд<sup>17</sup>. Продираясь через высокие волны, он, подобно выскочившему на поверхность библейскому киту с девятьюстами Ион во чреве, гулко плюхался в те бездны, которые без счета раскрывались перед ним одна за другой.

– Передать на «Менелай» и на «Князь Варшавский», чтобы курса ни в коем случае не меняли! – рычал тем временем командир на вытянувшегося рядом с ним, застывшего как извятие мичмана. – Ни в коем случае! Сделаем крюк и наверстаем. Исполнять!

Мичман сорвался с места и ловкой кошкой взлетел на полуют, откуда приказ Мофета был тотчас передан на остальные суда соответствующим флагом, поднятым на кормовом флагштоке, и выстрелом из пушки.

– Что происходит, Самуил Иванович? – повторил свой вопрос великий князь, приближаясь вместе с Невельским к Мофету. – Почему поворачиваем?

Вместо ответа командир обеими руками энергично указал на стоявшего неподалеку господина Семенова и рывком поднял нисколько не защищавший от ветра воротник своей тужурки.

Господин Семенов, не обладая, видимо, еще «морскими ногами», изо всех сил старался удержать ровное и по возможности вертикальное положение на ходившей под ним ходуном палубе. Тело его по причине весьма ощутимой качки мотало из стороны в сторону и даже раза

---

<sup>16</sup> Полубак – возвышение корпуса над верхней палубой носа корабля.

<sup>17</sup> Бейдевинд (от *нидерл. bij de wind* «при ветре») – курс парусного судна, когда ветер почти встречный. Идти в бейдевинд – лавировать, идя против ветра.

два бросило на такелаж<sup>17</sup>, однако он не воспользовался этими моментами и не стал цепляться за снасти, как поступил бы любой посторонний на корабле человек, оказавшийся на борту при океанском волнении. Очевидно, господин Семенову было важно держать кураж перед уверенными, будто вросшими в палубу морскими офицерами. Тем более что рядом стоял великий князь Константин.

В этих тщетных попытках сохранить достоинство с неизбежностью проглядывало нечто смешное и до известной степени жалкое, и тем не менее господин Семенов имел какую-то необъяснимую власть над командиром флагманского корабля. Невзрачный, побелевший от внезапного приступа тошноты, но при этом желавший произвести впечатление бывалого, господин Семенов, насколько сумел понять из отрывистых объяснений Мофета Невельской, заметил в океане шлюпку, с которой отчаянно махали какие-то люди, и потребовал направить 74-пушечный линейный корабль к ней.

По курсу «Ингерманланда» теперь действительно приближалось одинокое утлое суденышко, набитое крайне оживленными людьми. Командир корабля считал, что это просто рыбаки, решившие сбыть свой улов, но господин Семенов настаивал на своем. Он уверял, что утром видел далеко в океане полузатонувший остов корабля и что в шлюпке, скорее всего, находятся моряки, спасшиеся после кораблекрушения. Мофет отчаянно сердился на необходимость подчиняться партикулярному, совершенно не военному и явно не морскому человеку, однако поделаться с этим ничего не мог.

– Брандспойты готовы! – приказал он, решив хотя бы так отстоять свое командирское реноме.<sup>18</sup>

Впрочем, всю эту перепалку Невельской воспринимал не очень внимательно. Его сильно отвлекала мысль о толкнувшем его матросе. Самый этот толчок, как видно намеренный, а также последовавший за ним полный ненависти взгляд являлись неслыханной на императорском флоте дерзостью, в качестве расплаты за которую ни обычных линьков, ни даже прогона сквозь строй могло не хватить. Случись подобное на британском военном судне, провинившегося ожидало бы как минимум килевание – когда штрафника при помощи канатов протаскивают два, а то и три раза под килем, начисто сдирая с него кожу об острые края ракушек, во множестве облепивших корпус ниже ватерлинии. На русских боевых кораблях, со времен Петра перенявших множество флотских обычаев у великих морских держав, подобное зверство не прижилось, и все же матрос, толкнувший офицера, рисковал превыше всякой меры.

Пораженный не столько его дерзостью, сколько бесстрашием и очевидным равнодушием к тому, что последует, Невельской то и дело задирает голову, пытаясь отыскать этого матроса на вантах или на реях, но никак не мог различить его среди десятков других, занятых своей работой нижних чинов. Ни совершенно понятного в такой ситуации гнева, ни случившихся у него время от времени приступов ярости Невельской сейчас, к своему собственному удивлению, не ощущал. Напротив, он не мог избавиться от неясного чувства, что именно так все и должно было произойти, что он и этот матрос как-то связаны и что неприятное столкновение их нынче на палубе подготовлено не одной только предыдущей провинностью и экзекуцией, но чем-то гораздо большим, чем-то значительным.

– Странные люди эти птицы, – послышался неожиданно рядом с ним голос господина Семенова.

Невельской опустил голову и вопросительно взглянул на нетвердо стоявшего у самого борта таинственного пассажира, который успел переместиться подальше от грозного отпрыска шотландских нагорий.

---

<sup>17</sup> Бейдевинд (от *нидерл. bij de wind* «при ветре») – курс парусного судна, когда ветер почти встречный. Идти в бейдевинд – лавировать, идя против ветра.

<sup>18</sup> Такелаж (*нидерл. takel*, с *фр.* окончанием) – все снасти на судне, служащие для укрепления рангоута и для управления парусами.

– Птицы, – повторил господин Семенов, указывая рукой на вершину грот-мачты, где в абсолютной недосыгаемости даже для ловких матросов раскачивались несколько довольно крупных пернатых. – Вы ведь за ними наблюдали?

Невельской едва заметно кивнул, не сказав ни слова.

– Неужели им земли мало? Зачем они за нами летят?

К этому моменту было уже абсолютно понятно, что корабль напрасно изменил курс. Люди в шлюпке, как и говорил командир, действительно оказались рыбаками, рассчитывавшими на барыш. Теперь даже невооруженным глазом было видно, что в руках, воздетых над головами, каждый из них держит рыбу. Все они наперебой что-то кричали, размахивали своей рыбой и выглядели чрезвычайно довольными оттого, что к ним подходит большой, разодетый в паруса, как невеста – в пышное платье, военный корабль.

– Брандспойты! – коротко приказал Мофет, и к борту, за которым уже слышался плеск рыбацких весел, подвинулись матросы с пожарными трубами в руках.

В одном из них Невельской узнал того, кого он тщетно искал на вантах, но тот был занят организацией душа для назойливых рыбаков и даже не взглянул на офицера. В следующее мгновение и на палубе корабля, и внизу на шлюпке раздался дружный смех, после чего насквозь мокрые рыбаки с утроенной силой стали грести к едва видневшейся на горизонте полоске португальского берега. На западе солнце уже опускалось к океанской кромке, и этим уставшим людям надо было спешить, чтобы вернуться после дневных трудов к своим семьям, а прежде того – к земной тверди, до темноты.

### 3 глава



Несуществующий, согласно судовым документам, господин Семенов еще дважды принуждал вахтенных офицеров менять курс в пути до Портсмута. В журнал сведения об этих маневрах велено было не вносить, поэтому среди офицеров сложилось мнение, что у господина Семенова назначено с кем-то секретное randevu в открытом море. Однако перемена курса каждый раз ни к чему не вела, и тот, кого в условленных координатах, возможно, ожидал встретить загадочный гость вице-адмирала, в координатах этих не объявлялся.

Касательно принадлежности господина Семенова к определенному министерству в кают-компании возникли некоторые разногласия. Одни высказывались в том духе, что пассажир, скорее всего, проходит по дипломатическому ведомству графа Нессельроде<sup>19</sup>, причем с самыми широкими полномочиями. Но им резонно возражали, что в таком случае никто бы не стал скрывать от русского посланника в Лондоне факт присутствия на борту чиновника министерства иностранных дел. А из этого вытекало, что именно графу Карлу Васильевичу Нессельроде в первую голову не должно было стать известно о деятельности господина Семенова. И даже не просто о деятельности, но и о самом его существовании вообще.

Разговоры эти велись, разумеется, вполголоса, но весьма оживленно. Любой офицер императорского флота, начиная с румяных как девицы мичманов, знал, что вся европейская политика решается нынче на океанских просторах и по большей части – линейными кораблями, а потому не мог не интересоваться тем, в чем принимал ежедневное участие одним уже фактом своего утреннего пробуждения на военном судне. Обитатели кают-компании понимали, что появление господина Семенова на «Ингерманланде» было звеном большой политики. Таким же точно звеном, как и весь этот поход отряда русских кораблей в Средиземное море под предлогом сватовства великого князя Константина или, скажем, курсирование британских фрегатов у китайских берегов.

Недавнее поражение империи Цин<sup>20</sup> в Опиумной войне тревожило не столько проникновением англичан на китайские рынки, куда до этого доступ извне открыт был исключительно для одной русской пушнины, сколько тем, что чуть севернее театра военных действий лежали не разграниченные до сих пор между Китаем и Россией земли. После побед над цинскими джонками капитаны английских фрегатов стали все чаще устраивать якорные стоянки у побережья этих земель. И если бы только английские капитаны. Пять лет не прошло с тех пор, как Россия продала свои калифорнийские владения в Америке, – и уже до наших властей в Охотске стали доходить сведения о бесчинствах американских китобоев на берегах Татарского залива. Следом возникли даже французские суда, о которых в здешних краях не было слышно со времен Лаперуза. У всех великих морских держав объявилось тут внезапное и неотложное дело.

В силу своего особенного положения в экипаже «Ингерманланда» Невельской в этих обсуждениях прямого участия не принимал. Дистанция, возникшая между ним и остальными

---

<sup>19</sup> Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) – министр иностранных дел Российской империи при трех императорах – с 1816 по 1856 год.

<sup>20</sup> Империя Цин (Дайцин гурунь, «Золотая империя») – историческое государство, которое представляло собой созданную и управлявшуюся маньчжурами империю, располагалась в Азии и занимало территории Маньчжурии, Монголии, Китая и Средней Азии. Существовало в 1616–1912 гг.

офицерами с того момента, когда Федор Петрович Литке возложил на него обязанности наставника великого князя, с каждым годом становилась все ощутимее, и к этому походу приобрела форму вежливого, но вполне явного отчуждения. Невельского это ничуть не тревожило, тем более что он уже не один раз выслушивал в Кронштадте предположения особо суетливых штабных офицеров о грядущем его назначении командиром фрегата «Паллада». А это значило, что дистанция между ним и кают-компанией скоро должна была стать естественной и приличествующей его положению. Теплых же человеческих связей с офицерским собранием «Ингерманланда» у него не установилось. Более того, Невельской, скорее всего, считал бы их утомительным и никчемным излишеством. Дружбы он ни с кем не водил. Начиная с Морского корпуса, держался особняком и всегда немного настороже. Быть может, причиной тому были малый рост и побитое оспой лицо, что при его гордости не позволяло ему навязываться, а возможно – строгое матушкино воспитание. Потеряв одним разом в оспенной эпидемии двадцать третьего года и отца, и мужа, а с ними еще и младенца Елизавету, выживших детей она сочла поводом для своей любви уже не вполне уместным. Так или иначе, ни с однокашниками в корпусе, ни потом с офицерами на кораблях Невельской дружбы своею волею не искал.

И все же теперь он прислушивался к негромким разговорам, которые велись во время обедов за мерно раскачивающимся длинным столом о европейской политике и о вероятном участии в ней господина Семенова. Офицеры предполагали, что их загадочному пассажиру надлежало вступить в какие-то секретные переговоры с такими же секретными личностями, назначенными для этих целей от других великих держав, однако у Невельского были свои, и весьма тревожные на сей счет соображения. Он подозревал, что появление господина Семенова на борту может быть следствием чрезвычайного происшествия с великим князем в Лиссабоне. Во всяком случае, эта теория вполне увязывалась с переменой его собственного положения на судне.

Почти сразу после выхода в океан Невельского без каких бы то ни было объяснений отстранили практически от всех его обязанностей по кораблю, и в образовавшееся у него теперь избыточное время он мог свободно предаваться самым разнообразным размышлениям – о вероятных причинах этой опалы, о мировой политике, о днях своей юности в Морском корпусе и прочих, оказавшихся странным образом связанными друг с другом вещах. Вспоминая гардемаринские времена, он думал о двух своих товарищах, известных в роте непримиримой враждой.

Оба они являлись прирожденными вожаками и, очевидно, хорошими в будущем командирами, а потому вокруг каждого клубилась целая клика менее заметных гардемарин, которые были преданы своим сюзеренам до последней точки, стараясь при этом навредить враждебной группе сколько то было возможно. Противостояние в роте разделило ее на две примерно равные части, и Невельской, не входивший ни в одну из них, некоторое время ожидал, что наставники, дежурные офицеры или хотя бы учителя из штатских положат конец этому напряжению. Однако старшие, хоть и замечали не всегда приметные стычки между воспитанниками, оставили тем не менее все как есть.

Ердибенов и Зуев были фамилии тех двух гардемарин. Невельской за прошедшие годы почти позабыл эти имена, но теперь, в связи с постоянными размышлениями о политике, вспомнил. В свете того, что сейчас происходило в Мировом океане между крупными европейскими дворами, ему вдруг стали понятны причины тогдашнего бездействия корпусных командиров. Если бы на планете противостояли друг другу только две решающие силы, как это было тогда в их учебной роте, а все остальные силы, и полусилы и четвертьсилы исполняли роль послушных и преданных миньонов, примкнувших к одному из двух лагерей, то повсюду воцарилось бы равновесие – такое же, какое нужно кораблю, чтобы оставаться в правильном положении, ходя по морю мачтами вверх, а не наоборот. На каждом участнике одного и другого лагеря лежала бы серьезнейшая ответственность, и ни один из этих миньонов не отважился бы

предпринять даже самое незначительное враждебное действие против другого лагеря на свой собственный страх и риск. Любой в своих решениях и поступках соотносился бы прежде всего с интересами всей своей клики, и в первую голову – сюзерена, поскольку в случае ошибки ответ пришлось бы держать не перед врагом, а перед своими. И это означало бы, наконец, всеобщее прекращение войны.

Когда же друзья и противники то и дело меняются местами и когда вчерашний союзник примыкает к враждебной партии, становясь вдруг соперником лишь по одной той причине, что сейчас ему это выгодно, мир обращается в крайне зыбкое и ненадежное место. Англичане, американцы, французы, русские, турки – у всех свои интересы, и все складывают свои политические узоры. Края этих узоров почти никогда не совпадают, отчего неизбежны хаос и непредвиденные ситуации. Тревожное происшествие с великим князем в Лиссабоне, из которого удалось выйти только благодаря решительной и, вполне вероятно, излишней жестокости, могло оказаться не случайным нападением на беспечного иностранца, а спланированной атакой на представителя русского императорского дома. Невельской понимал, что нападавшие не могли знать заранее об их внезапном походе в театр, однако в случае присутствия на борту «Ингерманланда» заинтересованного осведомителя злодеи могли получить весточку о том, что великий князь покинул корабль. Проследить за его перемещениями по городу дальше уже не составило бы никакого труда.

Сидя без дела в своей каюте или вышагивая по палубе рядом с великим князем, Невельской без конца переворачивал в голове одну и ту же мысль: надо ли рассказать вице-адмиралу о нападении на Константина? Мысль эта была ощутимо тяжелой и занимала все пространство его ума. Разрешиться каким-то определенным выводом она положительно не хотела. С одной стороны, доложить о происшествии требовалось немедленно, поскольку за ним действительно могло стоять что-то серьезное – вплоть до государственной измены и заговора, но, с другой стороны, такого рода доклад ставил под угрозу его дальнейшую карьеру.

Десять лет в роли вахтенного офицера при великом князе подошли к своему завершению. Константину исполнилось восемнадцать, и это не могло не радовать Невельского. Разумеется, с великим князем было значительно проще, пока он оставался ребенком и не заглядывался на увлекательных девиц в европейских театрах, но зато теперь, по достижении совершеннолетия, он должен был возглавить морское ведомство и весь флот, а это, в свою очередь, позволяло Невельскому рассчитывать на самостоятельную службу, которая уже не будет находиться в такой прямой и порою душевной зависимости от царской семьи. Фрегат «Паллада», куда штабные сплетники прочили его командиром, два раза снился ему в этом походе, и на сердце у Невельского теплело всякий раз, когда он припоминал эти сны.

Сообщить сейчас командующему отрядом о том, к чему привело нарушение устава и прямого адмиральского приказа в Лиссабоне, означало практически перечеркнуть грядущее назначение на «Палладу». Риск оказаться в реальной опале, а не в такой, каковая ему теперь, возможно, лишь чудилась, останавливал Невельского, не давал ему обратиться с рапортом к вице-адмиралу Федор Петрович Литке со своей стороны, даже если что-то проведал о неприятном казусе, тоже не спешил расставлять все точки в этом деле. Заведенные обычным порядком каждодневные доклады Невельского сразу после отхода из Лиссабона были отменены.

Тем временем на корабле открылась холера. В матросском кубрике слегли сразу несколько человек. Двое из них умерли в жестоких и неопытных мучениях уже на следующий день после начала болезни, и настроение в экипаже стало тяжелым. Нижние чины угрюмо смотрели на офицеров, считая, что те никогда не болеют по причине хорошего стола. Два или три раза Невельской ловил на себе темный от ненависти взгляд того матроса, которого он наказал перед Лиссабоном и который потом толкнул его на палубе во время маневра. Вестовой доложил, что фамилия матроса – Завьялов и что происходит он, как и сам господин лейтенант, из-под Костромы.

Столкнуться с холерой так тесно Невельскому довелось впервые. Ни на одном боевом судне под флагом вице-адмирала Литке ничего подобного еще не случалось. Постоянное присутствие на борту великого князя гарантировало поставку на флагман воды и продуктов наилучшего качества. Однако на сей раз что-то пошло не так, и это тоже наводило на размышления. При определенной наклонности ума и здесь можно было усмотреть чей-то злой умысел.

Все, что Невельской знал о холере, было почерпнуто из рассказов его однокашника. Небывало жарким летом тридцать первого года Петербург охватила эпидемия, от которой каждый день умирало по шестьсот человек. Сам Невельской провел то лето на гардемаринской практике в экипаже «Великого князя Михаила»<sup>21</sup>, совершавшего поход в Ревель, а затем в Либаву, и по этой причине счастливо избежал всех ужасов. Однокашник его был отставлен от практики в наказание за постоянные дерзости и дурное поведение, вследствие чего и оказался свидетелем тех страшных событий.

По его рассказам, заболевший в корпусе надзиратель из числа старых матросов сначала жаловался на тяжесть в животе, затем у него открылся понос, а потом – рвота. Кожа скоро сморщилась и посинела, голос пропал, глаза глубоко провалились. Через день старик умер, но поняли это не сразу. В болезни своей он уже до такой степени выглядел мертвецом, что разницу уловить было невозможно.

Однокашник Невельского рассказывал потом по ночам в dormitorio<sup>22</sup> притихшим от благоговейного ужаса гардемаринам о пустынных петербургских улицах, о невыносимом зное, буквально выжигавшем город, о зловонных трупах на тротуарах и бесконечных обозах, которые при факельном свете везли в тягостной духоте каждую ночь куда-то за город сотни и сотни гробов.

Крепкие, налитые здоровьем после летнего похода под парусами восемнадцатилетние парни слушали своего неосторожного товарища, и слово за словом он незаметно становился в их глазах не просто свидетелем, но и соучастником всех этих преступлений смерти. Весть, хорошая она или дурная, неизбежно пропитывает того, кто ее принес, и в конце концов он сам становится этой вестью.

Неосторожность гардемарина заключалась вовсе не в том, что он дерзил офицерам и был за то отстранен от корабельной практики, а в том, что он поведал своим счастливым до этого момента товарищам о смерти в ее самом простом, самом далеком от героического, будничном и бесхитростном виде – в том виде, в котором она собирает свою элегическую жатву каждую осень, за тем исключением только, что речь тут велась не о листьях, падающих с деревьев.

Впрочем, неосторожный сказитель ничего этого не подозревал. Очарованный всеобщим вниманием, он продолжал свою мрачную повесть. К середине лета, когда жара достигла небывалых для Петербурга температур, люди стали сходить с ума. Кто-то пустил слух, что холеру с целью известить русских людей нарочно завезли врачи-иностранцы – будто бы они заманивают беззащитный народ в свои больницы и там губят вредными отравками. Слух этот оказался заразнее, чем сама холера, – и вскоре любого, кто носил при себе раствор хлорной извести, чтобы протирать руки, могли схватить прямо на улице, объявив отравителем, и прилюдно заставить этот раствор выпить до дна. Врачей стали избивать, холерные кареты сжигали, больницы громили одну за другой. Простой люд бесчинствовал, защищая себя от напасти, как умел и как подсказывала ему извечная и страшная его простота.

Неизвестно, что знали о той жуткой эпидемии матросы из экипажа «Ингерманланда», но в переходе до Портсмута среди них царило весьма подавленное настроение. Эта подавленность иногда перерастала в плохо скрываемое недовольство, и наказания у грот-мачты стали

---

<sup>21</sup> Великий князь Михаил Павлович (1798–1849) – четвертый сын Павла I и Марии Федоровны. Младший брат императоров Александра I и Николая I.

<sup>22</sup> Dormitorium (*лат. dormitorium*) – спальное помещение.

гораздо более частым явлением, чем до стоянки в Португалии. Нижние чины еще не роптали в открытую, однако разговоры в кают-компаниях все чаще сводились именно к этому предмету. В отличие от британского флота, на русских кораблях бунты оставались редким явлением, причиной чему служила, конечно, сравнительная мягкость экзекуций – наши линьки из обычных канатов не шли ни в какое сравнение со свирепой «девятыхвостой кошкой» с металлическими крючьями на концах, оставлявшей тело британского моряка навсегда изуродованным.

И все же, когда Невельской обнаружил у себя в каюте следы пребывания постороннего человека, он сразу решил, что это мог быть только Завьялов. Зародившаяся после наказания ненависть была подстегнута теперь общей нервозностью, которая возникла на судне из-за холеры, и матрос, очевидно, слегка тронулся умом.

– Да это, наверно, я не так ваши книги составил, – попытался переубедить Невельского испуганный вестовой. – Виноват. Но... Сами ведь знаете – не ходят через кают-компанию матросы. Одни офицеры тут.

– Давай, – махнул рукой Невельской. – Попробуй еще раз вытащи книгу оттуда.

Он уже успел вернуть на полку обнаруженный на кровати том и со злой усмешкой наблюдал, как его вестовой дергает книгу за корешок, пытаясь вытянуть ее из тисков других книг.

– Нейдет, – ваше высокоблагородие, – засопел вестовой. – Больно туго стоят.

– Сам ты «высокоблагородие»!.. Сколько раз повторять?! Не дай бог на людях ко мне так обратишься! Да не порви, дубина... Хватит, я кому говорю!

Вестовой послушно отступил от полки.

– Ну?! – Невельской хлопнул его по затылку – Ты же сам их так плотно поставил.

– Ну так... чтоб не попадали, ваше благородие. А то чуть качнет – и сразу по всей каюте. А я потом собирай. Опять же – вещь дорогая... Наверно... Порвется, помнется – я потом отвечай.

– То есть ты бы запомнил, если бы это ты ее с полки снял?

– Да уж как есть бы запомнил! – с готовностью подтвердить любую положительную мысль своего командира вытянулся вестовой.

Он очень хотел быть полезным.

– Хорошо, иди... Только смотри, другим матросам не говори ничего об этом.

– Да больно нужны им ваши книги! – вестовой крутнулся, чтобы уйти, но тут же понял, что позволил себе лишнего, и стушевался. – Я это к чему... Холера в кубрике, ваше благородие... Там сейчас об другом у всех голова болит.

О чем болит голова у матросов, Невельского в данный момент занимало не в самой значительной степени. Он был настолько сбит с толку внезапной немилостью командования, что даже холера, притаившаяся на нижних палубах «Ингерманланда», отступила для него на второй план. И дело заключалось не в опале самой по себе, а в том, почему она не разрешалась ожидаемым и привычным образом. Это «почему» не давало ему покоя, не находило ответа и длилось, неподвижно зависнув подобно огромной морской птице, которая может часами парить рядом с вершиной грот-мачты.

Если бы все шло согласно заведенному порядку, Невельскому уже давно было бы сказано, в чем состоит его провинность и каким именно образом ему предстоит за нее отвечать. Однако на этот раз правила со всей очевидностью переменились. Темная тревожная птица возникла над его головой, не собираясь почему-то ни улетать, ни садиться на палубу. Прямое обвинение, выскажи его вице-адмирал, было бы, несомненно, для Невельского предпочтительней. Тоска и тягучее ожидание непонятных последствий томили ему сердце. Он чувствовал, что на его счет готовится нечто совсем новое, и в свете этого нового даже утрата командирской должности на фрегате «Паллада» уже не казалась ему чрезвычайной.

Охватившее его предчувствие подтвердилось ураганным приступом лихорадки, из-за которой на два часа он слег у себя в каюте. Стуча зубами от бешено растущей температуры,

он пытался согреться под несколькими одеялами, вспоминал мать и отгонял суеверные мысли. Такое было с ним уже прежде. За две недели перед эпидемией оспы, унесшей отца, деда и сестру, он свалился точно так же внезапно с высокой температурой буквально на один час, после чего сразу пришел в себя и продолжал резвиться на дворе как ни в чем не бывало. Никаких других болезненных симптомов у него не возникло. Наверняка он вскоре забыл бы о том случае, если бы после эпидемии убитая горем матушка не подошла однажды к его кровати, где он сам лежал почти при смерти, покрытый с ног до головы язвами, словно маленькое морское чудовище под толстою чешуей, и, наклонившись к самому его лицу, не произнесла отчетливо, почти по слогам:

– Это все ты.

В чем она его обвиняет, маленькому Невельскому было тогда невдомек, но с годами Федосья Тимофеевна сумела постепенно вбить в его испещренную оспинами голову, что если он даже и не был причиной того несчастья, то уж во всяком случае вестником его явился наверняка. После потери близких на нее временами стали накатывать совершенно неконтролируемые приступы ярости, жертвами которых чаще всего оказывались ее дворовые. Выживший ее сын несколько раз безуспешно пытался их защитить, пока в один прекрасный момент не понял своим детским, но уже знакомым с правилами смерти умом, что должен быть благодарен этим несчастным. Вся ее кажущаяся беспричинной ярость предназначалась ему, и только ему одному. Бесправные крестьяне служили просто громоотводом. К своему пятнадцатилетию он успел раз или два вполне осознанно пожалеть о том, что не умер в ту эпидемию вместе со своими родными, и тысячу раз – о том, что накануне несчастья с ним приключилась внезапная лихорадка, принятая его матушкой за дурной знак.

Через тринадцать лет приступ повторился. По странному завитку судьбы это снова произошло в родном имении, где он отсутствовал целых семь лет. Приехав в самом начале 1836 года после окончания Офицерских курсов домой в Дракино, Невельской свалился едва ли не на пороге с ураганной температурой, которую как рукой сняло через час. Федосья Тимофеевна отреагировала решительно и ничуть не стесняясь. В считанные часы она собрала необходимый ей скарб и укатила на санях к новым родственникам. Незадолго до приезда сына она выдала дочь Марию за кинешемского помещика Павла Антоновича Купреянова, вышедшего в отставку капитаном 2 ранга, и теперь у нее было убежище на случай новых страшных предзнаменований. Вчерашний мичман и без пяти минут лейтенант остался в родном поместье один, гадая, чем закончится его отпуск и каких бед ему ожидать, если матушка все же окажется права на его счет.

По возвращении в Петербург через два месяца Невельской узнал о своем производстве в лейтенанты, а также о назначении в эскадру Федора Петровича Литке на фрегат «Беллона», которым командовал Самуил Иоаннович Мофет. В обязанности ему вменялись персональная опека и обучение морскому делу девятилетнего на тот момент великого князя Константина. Выходило, что отчасти Федосья Тимофеевна не ошиблась. Внезапные и необъяснимые лихорадки ее сына действительно имели характер провидческий, сообщая о важной перемене в его судьбе. Однако, в отличие от печального дара Кассандры, они далеко не всегда возвещали о трагедии. Новое назначение открывало перед Невельским самые блестящие перспективы, какие только были возможны для офицера в Российском Императорском флоте.

Третий приступ свалил его совсем недавно, когда отряд под флагом вице-адмирала отправлялся из Кронштадта в этот средиземноморский поход. Перед самым выходом в море Невельской должен был сопровождать Литке и великого князя в Академию наук на открытие Русского Географического Общества, но в итоге они отправились туда без него. Из-за высокой температуры, беспричинно и жестоко трепавшей его в течение часа, он вынужден был остаться в своей каюте. Это случилось 7 октября 1845 года, и вплоть до апрельского происшествия в Лиссабоне он был уверен, что на сей раз никакого предзнаменования в осеннем его лихора-

дочном приступе уже нет. Во всяком случае, ничего значительного за все это время с ним не произошло. После кровавого столкновения в португальской столице он свое мнение переменял. Суеверие матушки, похоже, имело под собой основания. Сотрясаясь теперь всем телом от озноба на узкой корабельной кровати, Невельской ломал голову над тем, какие сюрпризы судьба могла уготовить ему сейчас.

## 4 глава



Тем временем в Петербурге кое-кто уже просто изнывал в ожидании средиземноморского отряда. Кораблям оставалось пройти небольшое расстояние до Англии, затем – до Кронштадта, но материнское сердце императрицы Александры Федоровны<sup>23</sup> было не на месте. Дурные сны тревожили ее почти каждую ночь, раздражение днем зачастую находило себе выход в некрасивых сценах с участием близких, и только в присутствии мужа она внутренне собиралась и могла не думать о сыне. Маленького Константина по воле отца увозили от нее в море вот уже более десяти лет, однако ни один предыдущий поход, она чувствовала это, не был таким опасным, как нынешний. Что-то нависло над ее сыном, назрело, и Александра Федоровна просыпалась по ночам от жутких кошмаров. Скрыть свою панику от окружающих, а самое главное – от мужа, представлялось ей совершенно необходимым, поэтому она выдумывала себе одно занятие за другим.

Где-то в конце апреля императрице пришла в голову затея со Смольным. Образ невесты, из-за которой устроили для ее сына этот непривычно долгий средиземноморский поход, вызывал у нее приступы если не злобы, то явного неудовольствия, и чтобы преодолеть нарождавшееся в ней неприятное и тяжелое чувство по отношению к девушкам вообще, она, в полном соответствии со своей прямолинейной прусской природой, отправилась туда, где их было особенно много. В беседе с начальницей Смольного института государыня предложила устроить торжественный прием для своего сына и офицеров идущей домой эскадры совместно с кадетами и гардемаринами Морского корпуса. Идея начальнице крайне понравилась, и Александра Федоровна отбыла из института в значительно более приподнятом состоянии духа, нежели то, в каком она туда прибыла.

Тревога за сына, темной птицей угнездившаяся в ее сердце, нашла себе выход в странной и неожиданной форме. Супруга российского императора обрела вдруг вновь свою детскую дурную привычку, от которой смогла отучиться лишь в возрасте двенадцати лет. Тогда, на похоронах ее матушки, безвременно угасшей от унижения, горя и нищеты королевы Луизы<sup>24</sup>, она в самых горьких за свою коротенькую жизнь слезах пообещала отцу, что никогда, ни за что на свете не станет больше теревить мочку уха, поскольку бедную матушку это без меры огорчало. Отец лишь потерянно кивнул тогда в Берлинском соборе. Он знал, что привычка у дочери возникла от страха во время бегства из Кенигсберга зимой 1806 года, и упрекать ее, разумеется, никогда бы в этом не стал. Преследуемая войсками Наполеона королева со всеми детьми бросилась в ту ночь на Куршскую косу, куда в зимнее время ни один здравомыслящий человек не заезжал, и каким образом они все там выжили, одному только Богу было понятно. Рыдая в соборе так сильно, что все ее хрупкое тельце сотрясало от безутешной макушки до охваченных горем крошечных пят, будущая императрица российская лепетала, что не хочет больше огорчать матушку, пусть даже та теперь умерла и никогда не увидит, но все равно, все равно...

---

<sup>23</sup> Александра Федоровна (урожденная принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, 1798–1860) – супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица российская.

<sup>24</sup> Королева Луиза (Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская, 1776–1810) – супруга Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии. Бабушка российского императора Александра II.

Александрю Федоровну, которая по дороге из Смольного не заметила, как в задумчивости прихватила пальцами правую мочку, расстроил, конечно, этот факт, однако еще сильнее она расстроилась при мысли о том, что бессознательность жеста мистическим образом связала ее рано ушедшую мать с плывущим где-то по морю Константином, ведь думала она теперь только о нем, и значит, мальчику точно угрожает опасность. Чтобы избежать невольного повторения жеста, императрица, на несколько мгновений ставшая совсем не Александрой Федоровной, а маленькой и грустной Шарлоттой из разоренной французами Пруссии, надела свои кружевные перчатки и для верности даже стиснула обеими руками сетчатый ретикюль<sup>25</sup>. За окном кареты уже мелькали окна Зимнего дворца. С целью избавления от дурных предчувствий она постаралась сосредоточиться на предстоящем приеме в Смольном.

– Да, конечно, устраивай, на здоровье, – по-русски ответил ей муж, не очень любивший, когда она о чем-то спрашивала его по-немецки, но на этот раз чутко уловивший неистребимое желание супруги заговорить именно на родном языке.

– Правда? – обрадовалась она.

– Да сколько угодно. Только мне позволь не участвовать.

– О! Милый Никс! Мы отлично справимся без тебя.

– Нисколько не сомневаюсь, птичка. Но и калача московского не бери. Он дуться станет на брата. Барышни к морякам очень равнодушны.

«Московским калачом» Николай I прозвал своего старшего сына Александра<sup>26</sup>, считавшегося в семье престолонаследником от момента рождения. У старших братьев Николая Павловича законных сыновей не имелось. Наследник российского трона родился в Москве и с легкой руки отца среди домашних был известен под этим смешным именем. Жену из-за ее хрупкого сложения, а также по причине особой нежности император именовал то «птичкой», то по-французски «белым цветком». Самого себя мог иногда назвать «дядей с длинным носом».

Повеселевшая Александра Федоровна упорхнула из кабинета мужа, оставив его за тем занятием, которое прервала и о котором в своих тревогах не удосужилась поинтересоваться. Супруг ее читал статью сочинителя Тютчева<sup>27</sup>, обращенную к немецкому журналисту. Дождавшись, когда за женой закроется дверь, он продолжил чтение, однако ни проницательность автора, ни его несомненное политическое остроумие уже не в силах были полностью удержать внимание императора.

– Молодец... – бормотал он, пробегая глазами строки о том, что попытки защитить Россию от нападков западных клеветников точно так же бессмысленны и нелепы, как потуги уберечь от полуденного зноя при помощи раскрытого зонтика вершину горы Монблан. – Это совсем неплохо...

Однако мысли его после вторжения любимой Бланш Флер сами собой съезжали на другое. Николай Павлович думал о матери. Покойная Мария Федоровна<sup>28</sup> тоже любила бывать в Смольном. Возможно, поэтому она и предпочла окружить своими симпатиями его «птичку», а не супругу старшего брата Александра<sup>29</sup>. Неспроста же она, как говорили, уложила в сундук

<sup>25</sup> Ретикюль (*фр. reticule, лат. reticulum* – «сетка») – сумочки в виде корзиночки или мешочка (в переводе с латинского – «сетка», «плетеная сумка»), в насмешку были прозваны «ридикюлями» (в переводе с французского – «смехотворные»).

<sup>26</sup> Александр II Николаевич (1818–1881) – император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский (1855–1881) из династии Романовых. Старший сын Николая I и императрицы Александры Федоровны. Александр II осуществил отмену крепостного права и провел затем ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.). Вошел в русскую историю как Александр II Освободитель. Убит террористами после нескольких покушений.

<sup>27</sup> Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – один из крупнейших русских поэтов. В 1822–1839 гг. был чиновником русского посольства в Мюнхене, а с 1844 г. и до конца жизни служил в цензурном ведомстве.

<sup>28</sup> Мария Федоровна (София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, 1759–1828) – вторая жена императора Павла I, мать императоров Александра I и Николая I.

<sup>29</sup> Император Александр I Павлович (1777–1825) – император и самодержец Всероссийский (с 1801 г.), протектор Маль-

траурное платье для той невестки, отправившись ей навстречу в Калугу после смерти своего первого – и долгие годы, разумеется, главного – сына в Таганроге в 1825 году. Впрочем, насчет симпатий и антипатий матушки Николай Павлович особых иллюзий не питал с раннего детства. Граф Ламсдорф, назначенный ему в воспитатели, мог запросто треснуть его за непослушание головой о стену, и происходило это с полного ведома и одобрения заботливой родительницы. Мария Федоровна регулярно читала отчеты графа о подобных методах воспитания, после чего ненавистный Ламсдорф неоднократно поощрялся ею за особое рвение в педагогике.

И все же Николай Павлович допускал, что это была любовь. Иначе отблеск чего он уловил в их последнюю встречу? Вернувшись тогда из действующей армии, которая после двухмесячной осады взяла наконец турецкую крепость Варна, он застал мать на самом пороге смерти. О дурном ее состоянии он получил известия в Одессе, откуда до этого не собирался возвращаться домой, но тут сразу же помчался в Петербург. Родных застал в маленькой часовне Зимнего дворца. Все собрались там к обедне по случаю дня рождения государыни-матери. Услышав его голос в передней, они выбежали навстречу, а затем уже все вместе опустились на колени вокруг кресла разбитой болезнью Марии Федоровны. Умиравшая императрица потянула нежданно прибывшего сына за руку, и тот поднялся с пола. Николай ожидал какого-нибудь вопроса, поэтому склонился поближе к ней, но она молча продолжала тянуть его к себе, пока он не уступил и не отдался целиком во власть ее безмолвной материнской воли. Через мгновение он сидел у нее на коленях, обхватив себя за плечи, стараясь быть невесомым, а она все гладила и гладила его по пыльному рукаву, поскольку до головы дотянуться сил у нее уже не оставалось.

Мария Федоровна умерла через десять дней после возвращения сына из армии. Николай Павлович в свои тридцать два года снова ощутил себя маленьким и вспомнил все свои горькие чувства, которые охватывали его всякий раз, когда матушка велела графу Ламсдорфу увести его прочь. Правда, дверь у него за спиной закрылась теперь навсегда. На похоронах он старался убедить себя, будто уехал в действующие войска исключительно по той лишь причине, что после восстания на Сенатской площади<sup>30</sup> прошло всего три года, и ему непременно требовалось завоевать доверие своих офицеров и своих солдат. Отчасти это ему удалось, и угрызения совести были приглушены сознанием собственного значения для армии, народа и государства.

Николай Павлович поднялся из-за стола, подошел к огромному сводчатому окну и долго смотрел на Адмиралтейство. Вид этого здания успокаивал его, придавая уверенности в своих силах, решениях и поступках. Дождавшись, когда незваное чувство вины оставит его, он сделал несколько шагов по кабинету, а затем склонился над большим столом, стоявшим перпендикулярно тому, за которым он работал. На зеленом сукне была развернута карта Российской империи. Взгляд государя скользнул по ней вправо и остановился на восточных рубежах. Николай Павлович взял со стола карандаш, обвел им Сахалин и часть прилегавшего к нему на севере материка, после чего поставил в этом овале три вопросительных знака.

В Смольном после отъезда императрицы приключился форменный переполох. Начальница института вызвала к себе милейшую Анну Дмитриевну. Милейшая Анна Дмитриевна вызвала младших инспектрис. Младшие инспектрисы вызвали классных дам. И только одни классные дамы не вызвали никого, потому что воспитанниц решено было оставить пока в неведении.

Милейшая Анна Дмитриевна предложила некоторое время держать в секрете грядущий прием, поскольку воспитанниц, особенно если надлежащим образом их не подготовить, подобная новость могла «смутить». Произнося это слово, она с большим значением посмотрела на занимавшую вот уже почти семь лет пост начальницы института Марию Павловну, и та сразу с

тийского ордена (с 1801 г.), великий князь Финляндский (с 1809 г.), царь Польский (с 1815 г.), старший сын императора Павла I и Марии Федоровны, брат Николая I.

<sup>30</sup> Восстание на Сенатской площади – восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Поводом для восстания послужила сложившаяся ситуация с престолонаследием после смерти императора Александра I.

ней согласилась. Эти семь лет давали Марии Павловне то преимущество, посредством которого она могла избежать неприятных ошибок, неминуемых при меньшем опыте руководства одним из самых необычных учебных заведений Российской империи. Девочек обучали по большей части либо дома, либо нигде, поэтому, собрав их в таком количестве в одном месте, любой состав педагогов рисковал однажды столкнуться с тем же примерно явлением, какое повергает в трепет жителей приморского селения, застигнутого врасплох гигантской волной. По отдельности каждая из маленьких волн – это лишь радость для глаз и еще один повод восхититься совершенством вселенной. Однако стоит им по известной одному океану причине совпасть в своем ритме, обратившись в единое беспощадное целое, – и участь несчастных на берегу останется лишь оплакать. За семь лет своего напряженного труда Мария Павловна выучилась уважению к этой дремлющей до поры до времени могучей девичьей силе и знала, что волна должна просто идти за волной.

Сейчас важно было не встревожить воспитанниц, потому что в Смольном за долгие годы сложился близкий к религиозному культ семейства Романовых. Все, что касалось великих князей, княжон и даже отпрысков от морганатических союзов<sup>31</sup>, обретало в стенах института черты божественной избранности, осеменявшей воспитанниц волнующим и до головокружения сладостным чувством если не принадлежности, то уж во всяком случае той близости к венценосцам, на которую не могла рассчитывать ни одна обыкновенная девушка извне. Когда же речь, как теперь, шла о самых близких членах семьи императора, от воспитанниц можно было ожидать каких угодно эксцессов. Прежде доходило даже до воровства с тарелок и порчи верхней одежды. Трофеи потом засушивались до состояния мощей либо пришивались к изнанке собственного платья и в любой момент были наготове, чтобы насмерть сразить всех жалких и никчемных особ, подобным сокровищем не обладавших. Прежняя начальница института передала Марии Павловне в свое время сведения о четырех как минимум попытках самоубийства среди воспитанниц, причиной коих была единственно упущенная возможность хоть что-то стащить с тарелки зазевавшегося сына, брата или дочери государя. Почившая восемнадцать лет назад матушка нынешнего, как, впрочем, и предыдущего самодержца российского, знала об этой страсти смолянок, а потому, собираясь в гости к своей лучшей (после княгини Ливен, разумеется) подруге Юлии Федоровне Адлерберг, которая была тогда начальницей Смольного, непременно одевалась в шубу самой на тот момент нелюбимой из своих фрейлин, после чего невинно улыбалась, когда возвращала истерзанную девицами вещь ее опечаленной хозяйке.

– Девочкам пока ничего не говорить, – твердо повторила милейшая Анна Дмитриевна, и все три сидящие перед нею за партами младшие инспектрисы кивнули в ответ как одна. – Господи, там ведь еще эти мальчики будут из Морского корпуса... А у них военная форма... Ума не приложу, как нам быть! Ну да ладно, известите пока классных дам. Я сама составлю список участниц.

«Милейшей» Анну Дмитриевну называли в институте все – от начальницы до самой последней пепиньерки<sup>32</sup>. Сложилось это не в силу душевных свойств, дарованных ей от природы, а по причине большого количества племянниц. Шесть из них ее стараниями содержались и обучались в Смольном на казенный счет, и потому буквально с каждым сотрудником института она была сердечна и мила до невозможности. Временами ей хотелось, конечно же, придушить иную из своих нерадивых коллег, но старшей племяннице Елене уже исполнилось двадцать, и, чтобы сделать ее не очень заметной среди тринадцатилетних девочек ее класса, Анне Дмитриевне приходилось использовать все имеющиеся в ее распоряжении прекрасные струны души.

<sup>31</sup> Морганатический союз – официальный брак, заключаемый персоной королевского, или иного высокого титула, с простолюдином, т. е. лицом, не принадлежащим к знати.

<sup>32</sup> Пепиньерка (от *франц. pepiniere* – «питомник») – девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная в нем для педагогической практики.

Уже к вечеру того дня, когда императрица нанесла свой визит в Смольный, всем в институте стало понятно, что новость о грядущем приеме утаить от воспитанниц не удалось. Попытки уберечь их от волнений были изначально обречены на провал. Обостренное почти тюремным положением чутье этих девочек безошибочно подсказало им: государыня просто так не приедет. У такого события должна быть причина, при этом очень весомая, а значит, готовится что-то крупное. И в этом непременно примет участие императорская семья.

За обедом предположений было высказано так много, а еды по причине постного дня было так мало, что даже привычные к многолетнему недоеданию старшие девушки испытывали головокружение. День по расписанию был «французский», но уже к середине до невозможности скудной трапезы все наперебой говорили только по-русски. В самом начале спора они еще нервно передавали друг дружке большой и уродливый язык, вырезанный из картона для тех, кто осмеливается нарушать правило, однако после второй или третьей девушки, которая послушно повесила его себе на шею, они просто сжимали его в руке, а затем и вовсе затолкали куда-то под стол.

– Нас повезут во дворец, – бормотала, закатывая глаза, неестественно бледная княжна Долицына. – Вот увидите! Мне давеча папенька намекал.

Большинство остальных девушек тоже не сияли румянцем, но в их случае бледность была результатом натурального течения жизни, приключившейся с ними по воле их бессердечных родных. Они плохо ели, редко бывали на солнце, мало гуляли и много грустили, тогда как дочь князя Долицына и светлейшей княжны Суворовой грустила в основном только для виду. Питалась она отдельно от всех и весьма обильно, а лицо густо покрывала белилами, чтобы не выделяться среди однокашниц. Чувство меры, впрочем, всегда подводило ее, поэтому она выделялась в другую сторону – гробовщик, ненароком заглянувший на занятия в Смольный, наверняка счел бы ее своим скорым клиентом.

– Никуда нас не повезут, – отвечала ей княжна Утятина, и в голосе ее больше слышалось раздражение, чем несогласие.

Отец этой худой зеленоглазой девицы тоже был князем, но не генерал-майором, как у Долицыной, а только прапорщиком. Однако этот привычный для нее жизненный перекосяк на чужую сторону сейчас полностью затмевался тем, что увлеченная общим порывом Долицына явилась обедать со всеми. По мнению охваченной ревностью княжны Утятинной, это было нечестно. Порыв принадлежал тем, кто жил общей жизнью, а раз уж кто-то питается отдельно, то пусть и не вмешивается, и так ведь все знают, кто в этом выпуске окончит с екатерининским шифром<sup>33</sup>. Материального выражения все эти чувства, разумеется, не находили ни в словах, ни в поступках, но молчаливо при этом сильно имелись в виду. То есть, если княжна Утятина и называла княжну Долицыну «бессовестной душечкой» или того хуже – «душечкой поганой», то происходило это исключительно в глубине ее маленького сердца, расстроенного общей несправедливостью жизни, а также наличием обязательных постных дней в Смольном по средам и пятницам – даже когда у всех остальных православных никакого поста нет.

Почти все девушки за столом так или иначе принимали участие в этом тревожении – одни множили версии грядущего, другие с головой бросались в омут конфликта двух княжон, становясь либо «утятинками», либо «долицынками», и только одна маленькая блондинка с правильными чертами лица и выразительными голубыми глазами сосредоточенно ковыряла вилкой кусок отварной рыбы, прозванной вечно голодными смолянками «мертвечиной». Временами, когда высказывалась какая-то уже совсем очевидная глупость, ей не удавалось удерживать улыбку, однако взгляд ее при этом оставался таким же сосредоточенным, отчего и внеш-

---

<sup>33</sup> Екатерининский шифр – металлический вензель царствующей императрицы; вручался на выпуске лучшим институткам. Носился на левом плече на банте из белой в цветную полоску ленты.

нее, и внутреннее существо в ней делилось ровно напополам. Эта девушка умела быть сразу двумя девушками – очень серьезной и той, что смеется.

– А почему Катя Ельчанинова все время молчит? – с вызовом вдруг сказала княжна Долицына, заметив ту самую улыбку после своего очередного и на сей раз уже совершенно бредового предположения.

– Я не молчу, – ответила блондинка. – Я слушаю.

– А это два разных дела?

– Да. – Катя с уверенностью кивнула. – Молчат, когда сказать нечего или когда мнением других не дорожат. А слушают, когда интересно.

– И что же вам интересно? – с подозрением нахмурила бровки княжна.

– Все, – пожалала плечами Катя. – Мне, вообще, все в жизни интересно.

К своим пятнадцати нежным и отчасти печальным годам Екатерина Ивановна, как любил называть ее в детстве недавно умерший батюшка, знала о себе немного: туманным оставался для нее собственный характер, неясными – устремления, непонятно было, сильный она человек или слабый, красивый или же нет, и на что ей рассчитывать дальше. Все это пребывало пока в смутном и таинственном состоянии, но в одном своем качестве она уже теперь была уверена наверняка. Катя знала, что она другая.

То есть она, конечно, не сомневалась, что она такая же девочка, как и все остальные воспитанницы Смольного, и что ее ожидает примерно такая же судьба, однако в чем-то существенно важном она от них отличалась. Ее, к примеру, не замечали дурные люди. Классная дама, пришедшая к ним около года назад и в первые же дни определенная всеми воспитанницами как существо самое неприятное, была крайне удивлена, обнаружив Катю среди своих подопечных через несколько месяцев после своего появления в институте. Она буквально не видела ее более полугода. Смотрела на Катину лицо, на ее платье, на безукоризненный передник, и вместо всего этого видела пустой стул. То же самое происходило во время свиданий с родителями. Некоторые из них пытались даже пройти сквозь нее, считая, что перед ними ничего нет, и всякий раз после таких происшествий она узнавала об этих людях что-нибудь стыдное. По ночам девочки в дортуарах<sup>34</sup> испытывали иногда особенно острое одиночество и в такие моменты могли шепотом поведать о своих родителях такое, о чем при дневном свете у них бы вряд ли язык повернулся сказать.

Сознавая свою странность, Катя и в институтском быту не вела себя как остальные воспитанницы. Многолетние традиции Смольного совершенно не коснулись ее. У Екатерины Ивановны, к примеру, напрочь отсутствовал предмет обожания, который просто обязана была избрать себе каждая смолянка, переходившая в старший класс. Ни император, ни учителя, ни классные дамы не стали для нее «божеством», чьи инициалы она должна была повсюду вырезать ножиком или выкалывать булавкой. Она не проходила через ритуальные мучения, чтобы оказаться «достойной» своего предмета – не ела в знак любви к нему мыла, не пила уксус, не пробиралась по ночам в церковь и не молилась там за него, не чинила никому перья, не дарила бесконечных подарков, не шила тетрадки – словом, жила какой-то совершенно неправильной и непонятной здесь жизнью.

Все эти странности происходили с нею по причине абсолютно недетского и как будто скрытого от остальных понимания того, чем на самом деле являлись воспитанницы Смольного института. Почти каждая девочка, живущая тут, была не нужна своим родным. У одних, как у Кати, родители давно жили врозь. Других, как княжну Долицыну, поместили сюда от неловкости перед обществом, потому что мама ее была вовсе не княгиня, а тоже княжна. Третьих по смерти родителей просто-напросто некому было кормить, и только совсем небольшой отряд четвертых пребывал здесь в полной гармонии, поскольку происхождение их было столь невы-

---

<sup>34</sup> Дортуар (*фр. dortoir* от *dormir* – «спать») – общая спальня в институте.

соким, что сам статус «благородных девиц» уже являлся для них главной наградой в жизни. Приличное общество, производившее на свет этих девочек, рассматривало их по той или иной причине как побочный продукт, и ровно поэтому полагало, что, в отличие от их сверстниц более чистой породы, предназначенных для дальнейшего ее улучшения, этим вполне можно было дать образование. Оно, с одной стороны, служило подспорьем для них, чтобы выжить, а с другой – помогало понять и принять тот очевидный для просвещенного человека факт, что главные роли в обществе теперь не для них.

Иван Иванович Бецкой<sup>35</sup>, стоявший у истоков Смольного, сам был внебрачным ребенком, и, если бы не принадлежность к мужескому полу, он с легкостью мог разделить неизвестную судьбу большинства своих будущих протеже. Тем не менее жизнь его сложилась в итоге наилучшим для него образом, а суровый, почти казарменный быт воспитанниц института, возможно, и не был никоим образом связан с его личным желанием подвергнуть остальных незаконнорожденных, сирых и прочих беспомощных всем тем испытаниям, через которые в детстве пришлось пройти ему самому. Неизвестно, практиковались ли в кадетском корпусе Копенгагена, куда отправил его отец, утренние обливания ледяной водой и какая температура поддерживалась в комнатах кадетов зимой, но в Смольном девочки спали под тонкими одеялами при температуре не выше шестнадцати градусов, а воду для каждодневного обливания доставляли им в огромных бочках напрямиком из Невы. В зимние месяцы служители с этой целью не давали замерзнуть широкой проруби рядом с институтом, и по ночам в дортуары долетало иногда влажное чавканье их топоров.

Вполне возможно, что Иван Иванович действительно был ни при чем. Многолетнюю пытку холодом могла ввести Екатерина II<sup>36</sup>, надоумившая Бецкого в 1764 году основать «воспитательное общество благородных девиц». Известно, как она жаловала императрицу Елизавету Петровну<sup>37</sup> за отнятого у нее тотчас же после родов сына и за душную ее заботу о нем. Государыня держала новорожденного Павла<sup>38</sup> в колыбельке, обитой изнутри мехом черной лисы, укрывать велела двумя одеялами, окна у него в комнате открывать не позволяла вообще. Екатерина заставляла младенца мокрым от пота, вялым, плаксивым и красным. Малейший сквозняк приводил ко всем, какие только были возможны, простудам, и долгое время несчастная мать страдала от мысли, что сын ее – не жилец. Так она выучилась ненавидеть тепло, а девочкам в Смольном пришлось годами мириться с холодом.

Впрочем, на следующее утро после визита Александры Федоровны воспитанницы выстроились к обливанию без привычных жалоб, отнекиваний, отговорок и хмурых лиц. Все лица и личики, напротив, светились ожиданием чего-то удивительного и даже как будто волшебного, словно каждая из этих Золушек только что побеседовала со своей личной феей, и та уже рассказала про платье, про туфельки и про бал. Девочки в длинных ночных рубашках переступали босыми ногами по влажному кафелю, шушукались, по очереди подходили к бочке, зажмуривались, несильно вздрагивали и, получив на голову и плечи ковшик невской воды, спешили вернуться к подругам. Мало кто уходил переодеваться в сухое, поэтому очень скоро у выхода в коридор сделалась небольшая толпа из промокших и оживленно перешептывающихся наяд. Одни лишь «парфетки»<sup>39</sup>, целиком посвятившие себя достижению совер-

<sup>35</sup> Бецкой Иван Иванович (1704–1795) – общественный деятель, педагог, в 1762–1779 гг. – личный секретарь Екатерины II. По его инициативе был создан Смольный институт благородных девиц (1764).

<sup>36</sup> Екатерина II Великая (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, 1729–1796) – российская императрица в 1762–1796 гг.

<sup>37</sup> Елизавета Петровна (1709–1761) – младшая дочь Петра I и Екатерины I, российская императрица (1741–1761).

<sup>38</sup> Император Всероссийский Павел I (1754–1801) – одна из самых неоднозначных фигур в Российской истории, сын Екатерины II и Петра III.

<sup>39</sup> Парфетка (от *фр. parfaite* – «безупречная», «безукоризненная») – лучшая воспитанница по поведению и учебным успехам в женских учебных заведениях.

шенства и не имевшие, следовательно, никакой возможности нарушать заведенный порядок, уходили с прямыми от злости спинками прочь, хотя остаться им, конечно, хотелось до слез и даже, наверно, еще сильнее.

В числе причин подобного энтузиазма была и стоявшая в Петербурге вот уже несколько дней теплая погода, из-за которой вода в Неве успела прогреться до необычного в мае состояния, почему бочка посреди умывальной комнаты не пугала никого так, как всегда, но все же главным поводом к ажитации среди девочек явилось другое. За ночь незримые институтские боги, поселившиеся в Смольном со дня его основания и неустанно заботившиеся о воспитанницах, успели довести до сведения всех и каждой истинную причину визита императрицы. Физически это проявилось в том, что кто-то, скорей всего, проболтался, а кто-то подслушал, или одна из классных дам не удержалась и намекнула своим фавориткам – так или иначе к моменту утренних обливаний все уже знали о грядущем приеме в Смольном с участием воспитанников Морского корпуса и царской семьи. Девочки редко покидали институт, почти не видели посторонних, поэтому новость произвела тот примерно эффект, что бывает в казармах гвардии при объявлении войны, – все были в полном восторге.

Само возвращение средиземноморского отряда кораблей как непосредственный повод для надвигающегося великого события, воспитанниц если и волновало, то далеко не в той степени, что мысли о кадетах и гардемаринах, а главное— о «божествах». У многих девочек имелся свой предмет обожания в императорском доме, и теперь все они страшно беспокоились относительно собственного участия в приеме. Еще нужно было непременно обсудить, какое «божество» придет, а какое нет, будет ли общий с гардемаринами танец, что приготовить «божествам» в подарок, – словом, разойтись они никак не могли. Выйти из умывальной комнаты и разделить на свои отдельные жизни сейчас было для них равносильно святотатству – все равно что разрезать огромную и прекрасную картину великого художника на маленькие кусочки, а потом разнести эти фрагменты по своим классам и дортуарам, имея возможность любоваться крохотной частичкой того полотна, которое целиком созерцать они могли только все вместе.

Среди наяд в мокрых рубашках выделялась княжна Долицына. Рубашка ее была совершенно сухой, и она все никак не могла заставить себя шагнуть под ледяной ковш. То и дело она становилась в очередь к бочке, а затем, приблизившись к ней, со вздохом разочарования отходила прочь. В обычный день она бы вообще сюда не зашла, но сегодня принять участие в обливании было необходимо. В институте княжна слыла «отчаянной», то есть такой, которая не соблюдает всех правил – может быстро пройти по коридору или громко разговаривать в классе, однако в свете грядущего события этот статус, ничуть не беспокоивший ее раньше, мог сильно ей навредить. В ближайшие дни начальница института должна была утвердить список воспитанниц для участия в совместном приеме, и не попасть в заветный список означало погибнуть.

– Хотите, я вам свою рубашку отдам? – предложила ей Катя Ельчанинова, отходя от бочки и заметив очередной маневр княжны. – Я могу еще раз облиться, мне не трудно.

Долицына с подозрением уставилась ей в лицо, но не обнаружила на нем следов насмешки. Ельчанинова смотрела на нее ровным открытым взглядом и, судя по всему, действительно предлагала помощь. С мокрых волос ее по щекам и губам красиво сбегали крупные сверкавшие капли.

– Благодарю вас, не стоит, – поджала губы княжна. – Мне надо самой.

– Как хотите.

Екатерина Ивановна кивнула и направилась к выходу. Она хоть и не была «парфеткой», задерживаться в умывальной комнате тоже не стала. Ей ничуть не хотелось шушукаться с остальными насчет приема. Ночью она видела дурной сон про каких-то туземцев и людоедов, пытавшихся ее изловить, отчего до сих пор чувствовала себя скверно, однако даже не это явля-

лось причиной невольной ее отчужденности. По смерти батюшки ее все чаще тревожили мысли о будущем. До выпуска из института оставалось чуть более двух лет, и многое указывало на то, что матушка по состоянию своего здоровья тоже вряд ли дождетя этого события. Из родных у Кати были еще дядя и сестра, но их собственное положение в обществе не позволяло увидеть в них жизненной опоры. Катя явилась бы для них обузой, а значит, рассчитывать в дальнейшем ей приходилось на одну лишь себя. На фоне подобных мыслей экзальтация девочек в умывальной комнате выглядела в ее глазах если не глупостью, то уж во всяком случае ненужной и вычурной наивностью.

В свою очередь княжна Долицына, не бывавшая во всю свою жизнь даже одной секунды в состоянии наивности, уходить все же не спешила. Нынешней весной она дважды меняла свой статус «отчаянной» на положение «мовешки»<sup>40</sup>, то есть такой особы, для которой моветон<sup>41</sup> – привычное дело, поэтому облиться сейчас ей надо было непременно. В марте она отличилась тем, что на общей молитве развязала банты на передниках у двух стоявших на коленях воспитанниц младшего класса и связала их между собой, что привело в результате к падению, хохоту, крикам, слезам и неразберихе. В апреле классная дама застала княжну за порчей институтской Библии. Все места в Священном Писании, где упоминалась седьмая заповедь, были в Смольном тщательно заклеены полосками плотной бумаги, но Долицыной так хотелось своими глазами прочесть слово «прелюбодеяние», что она при помощи украденной из столовой вилки взялась отколупывать эти отвердевшие за долгие годы «фиговые листочки». При этом она почему-то не ограничилась одним экземпляром. До того, как ее застали за актом непристойного вандализма, княжна успела расковырять восемь Библий. Очевидно, ей было важно донести слово Божье во всей его целостности до максимального числа воспитанниц.

Осенив себя крестным знаменем и выдохнув, как будто собиралась шагнуть в прорубь, Долицына снова встала в конец очереди. Именно в этот момент за спиной у нее произошла самая безобразная за последние десять лет в институте сцена. Буквально в метре от княжны стояла одна из тех девочек, что упали не так давно на молитве из-за привязанных бантов. Глаза ее темнели двумя сгустками ненависти. Проходившая мимо этой девочки Катя, которая уже открыла дверь, чтобы выйти из умывальной комнаты, невольно задержала движение, поняв, что сейчас произойдет непоправимое.

Девочку с горевшими глазами, насколько помнила Ельчанинова, звали Даша. Она была дочерью известного поэта Тютчева и вместе со своей сестрой состояла в «сером» классе. Воспитанницы этой группы носили серые платья с белыми передниками и по старшинству следовали за выпускным «белым» классом. Возраст их в среднем был двенадцать-тринадцать лет. Все, что произошло в следующие несколько минут рядом с бочкой для обливания, в официальном отчете потом было уклончиво отнесено на счет вероятной эпилепсии. В частных же разговорах и классные дамы, и учителя, и сама начальница больше склонялись к мотиву ревности, возникшей между воспитанницами из-за участия в грядущем приеме. Однако ревность, если она имела место, была тут совершенно иного рода. Припадок у Даши Тютчевой, в результате которого она нанесла заметные телесные повреждения стоявшей рядом с ней Лене Денисьевой, а также и самой себе, действительно напоминал эпилептический, и потому сильно напугал всех девочек, но, пожалуй, в гораздо большей степени их напугала отчетливая направленность этого припадка. Даша так яростно, так прямо и с такой нескрываемой ненавистью атаковала Денисьеву, что сомнений быть не могло: она хотела нанести максимальные повреждения. От серьезных увечий жертву неожиданного нападения уберегла, пожалуй, только значительная разница в возрасте. Денисьевой недавно исполнилось двадцать лет, и это преимущество сыграло решающую роль в исходе их столкновения. Если бы девушки оказались ровесницами,

<sup>40</sup> Мовешка (от фр. *mauvaise* – «плохая», «скверная», «дурная») – воспитанница, считающаяся строптивой; шалунья.

<sup>41</sup> Моветон (фр. *mauvais ton*) – манеры, поступки, не принятые в обществе; дурной тон, невоспитанность.

Тютчева имела бы неоспоримое превосходство – и в силу своего первенства в атаке, и по причине схожего с безумием состояния.

Об истинной подоплеке этого происшествия во всем институте догадывались только двое – милейшая Анна Дмитриевна и Катя Ельчанинова. Правда, знали они разные части этой истории, но если бы им удалось объединить свои фрагменты, картина могла проступить почти целиком. Лена Денисьева была родной племянницей милейшей Анны Дмитриевны и обучалась в одном классе с маленькими девочками исключительно благодаря протекции тетки. Она, разумеется, не находила себе подруг среди окружавших ее детей, а потому невольно тянулась к воспитанницам выпускного класса, хотя даже те в среднем были на пять лет моложе ее. Тем не менее она по очереди предлагала каждой из них свою дружбу, и Катя оказалась тем самым человеческим существом, которое этих предложений наконец не отвергло. В порыве признательности Денисьева показала ей тетрадь со своими литературными опытами, где среди прочего Катя прочла следующее: «Если бы Вы знали мое подлинное к Вам отношение, Вы бы не приходили больше сюда... Вы бы прилетали как облако – парили бы над землей и влетали в Смольный сразу через окно дортуара во втором этаже». Из прочитанного Катя сделала вывод, что Денисьева влюблена и что чувства ее на обычное институтское «обожание» совсем не похожи.

Полюбив занятия музыкой, Екатерина Ивановна на каком-то своем еще детском уровне придумала для себя понимание счастья. Все окружавшие ее люди – от воспитанниц до классных дам – часто о нем говорили, уверенно предлагая самые различные варианты, но Катю в них всегда настораживала именно эта уверенность. Твердая формула счастья, облеченная в конкретные образы и желаемые материальные объекты, казалась ей неживым предметом, из которого ускользнула правда, и только музыка до известной степени совпадала с ее представлением о счастье. Неуловимость этого состояния, сама его мимолетность, вызывали в ней то же самое ощущение, какое возникает при легком сдвиге акцента с сильной доли такта на слабую. Катя чувствовала, что не только счастье, но и вся жизнь – ее секрет, ее сила и в то же время летучесть – кроются где-то там, в этом несовпадении ритмического акцента с метром. После прочтения навязанного ей чужого дневника она явственно ощутила тот самый сдвиг, то самое смещение, куда угодила счастливая и неспособная скрыть свое счастье Лена Денисьева.

Со своей стороны, милейшая Анна Дмитриевна, никогда не читавшая дневника велико-возрастной племянницы, уловила приближение грозы по другим приметам. Проверяя журналы родительских посещений, она обратила внимание на участвовавшие с некоторых пор визиты поэта Тютчева. По сравнению с остальными родителями он стал бывать в Смольном слишком часто. Первое время он появлялся в сопровождении своей новой жены, приходившейся мачехой его дочерям, но та была уже очень беременна и потому вскоре сочла более ненужным казаться заботливой матерью для двух сирот.

Разговоры старшей инспектрисы с классными дамами не выявили никаких проблем у дочерей коллежского советника Тютчева. Девочки ни на что не жаловались, не имели конфликтов, более того – они даже не всегда приходили вместе на свидания к зачастившему вдруг отцу. У милейшей Анны Дмитриевны сложилось впечатление, будто их тяготили эти его приходы, и в итоге они решили поделить их между собой, как наскучившие дежурства. Чтобы разобраться во всем самой, она стала присутствовать на каждом свидании с родителями. Ничего необычного, кроме самого факта постоянных визитов Тютчева, там не происходило. Со своими девочками он общался в рутинной манере. Не выглядел обеспокоенным, не расспрашивал об их положении. Он скорее даже скучал от необходимости говорить с ними и нисколько не удивлялся тому, что они приходят поодиночке.

Милейшая Анна Дмитриевна стала подозревать дурное, когда заметила реакцию Тютчева на появление Лены Денисьевой в комнате для свиданий. Она сама назначила старшую свою племянницу на эти дежурства, сделав их постоянными, чтобы все в институте видели, как она с нею строга. Та не была еще пепиньеркой, однако возложенные на нее обязанности

исправляла с необходимым и должным тщанием. Все родители были ею довольны, а самым из них довольным выглядел всегда поэт Тютчев. При ее приближении он вставал, помогал сдвинуть стул или участливо придерживал дверь, торопливо пройдя иногда для этого лишней десяток метров и оставив будто не заметившую его ухода, давно молчавшую и смотревшую куда-то в окно дочь. Впрочем, больше всего милейшую Анну Дмитриевну обеспокоило даже не это. Она вдруг увидела, до какой степени изменилась дочка ее рано овдовевшего брата. Робкая прежде, боявшаяся из-за своего неподходящего возраста в институте буквально всех и вся, Лена Денисьева заметно преобразилась. Страхи оставили эту девушку, как оставляют они человека, понявшего, что смерть – это всего лишь старшая сестра сна, и если главная тревога ночью – боязнь не уснуть, то, значит, и в жизни основным опасением должна быть мысль, что ты никогда не умрешь, и само приближение к смерти тогда служит отрадой.

Помимо всего подмеченного и угаданного милейшей Анной Дмитриевной, эта некрасивая история содержала еще много такого, о чем ни старшая инспектриса, ни Катя Ельчанинова не знали и знать не могли. Внезапное нападение Даши Тютчевой на великовозрастную одноклассницу имело более глубокие корни и продиктовано было далеко не одними визитами в Смольный ее поэтически настроенного отца. Федор Тютчев являлся человеком поэтического склада в самом широком смысле – не ограниченном его профессиональными занятиями литератора. Жизнь клубилась вокруг него посильней и намного жарче, нежели в любой романтической поэме. Женщина, родившая ему трех девочек, две из которых отданы были теперь на воспитание в Смольный, потеряла для него интерес уже в самые первые годы их совместной жизни. Тютчева унесла куда-то в поднебесную высь бурные воды нового чувства, а его супруге не осталось более ничего, кроме попытки заколоться бутафорским ножом. Ударив себя несколько раз в грудь и в шею кинжалом от маскарадного костюма, она все же сумела пораниться до крови и тем самым, очевидно, пробудила к жизни по-настоящему темные силы. Когда Тютчев умчался вслед за новой вечной любовью в Турин, жена его собрала трех своих маленьких дочек, уселась вместе с ними на пароход, намереваясь порадовать мужа воссоединением всей семьи, но в итоге едва не сгорела заживо. Если бы не путешествующий на том же пароходе юный литератор Тургенев, она, скорее всего, погибла бы в страшном пожаре, который охватил судно недалеко от Любека. Тургенев помог спасти и детей. По приезде в Турин выяснилось, что денег у Тютчевых практически не осталось, в то время как новая и, разумеется, опять вечная любовь поэта располагала весьма значительным состоянием. Неясно: по причине ли этой внезапной нищеты, унижения, ревности, перенесенного на горящем корабле ужаса или просто потому, что так было удобно всем остальным, – но буквально через три месяца Элеонора Тютчева в жесточайших страданиях умерла, а ее безутешный супруг, поседевший, как говорили, за одну ночь у ее гроба, женился на богатой и красивой баронессе уже на следующий год. Девочек весьма скоро определили в Смольный, и на третьем году их обучения в классе у них появилась Лена Денисьева. Проникнутый поэзией до корней волос Тютчев неожиданно превратился в заботливого отца, и в конце концов его дочь бросилась в умывальной комнате на свою одноклассницу Двенадцатилетняя Даша Тютчева в силу малого возраста могла и не знать обо всех этих давних событиях, однако события эти своим неприятным чередом все же произошли, никуда не исчезли, но накопились, а затем обнаружались в ее жизни, стали каким-то образом ей ясны, и охватившая ее от этой ясности невыносимая тревога привела наконец к безобразной сцене во время обливания.

На следующий день после происшествия были названы имена девушек, участвующих в совместном приеме по поводу возвращения средиземноморской эскадры. Технически отряд из трех кораблей эскадрой назвать было нельзя, но для обитательниц института это являлось простительным допущением. Слово «эскадра» пленяло их гораздо сильнее, чем какой-то глупый и незначительный «отряд», в котором не слышалось ни крика чаек, ни шелеста парусов, ни тяжелой поступи мужских шагов по палубе и по трапам.

Княжна Долицына, за свои прегрешения не попавшая в список избранных, прорыдала до самого вечера. Начала она в столовой, куда снова пришла на общий завтрак в расчете услышать свою фамилию, продолжила на уроках, не отвечая на змеиное посвистывание классной дамы, не успокоилась во время обеда, придя на него зачем-то опять вместе со всеми, хотя для нее, как всегда, был накрыт отдельный стол, а затем залила горячими слезами подушку себе, Кате Ельчаниновой и еще двум девочкам в дортуаре. Утомленная этим неостановимым потоком Катя попросила ее наконец прерваться хотя бы на полчаса и отправилась к милейшей Анне Дмитриевне.

На стук в дверь Кате никто не ответил. Решив, что в кабинете никого нет, она вошла, чтобы дождаться старшую инспектрису у нее на рабочем месте, но уже в следующее мгновение застыла от неловкости на пороге открытой двери. Кабинет не был пуст. За столом, низко опустив голову, сидела Лена Денисьева, а прямо над нею тяжелым коршуном нависала милейшая Анна Дмитриевна. Их разговор был настолько тих, что Катя не услышала его из коридора, но при этом настолько напряжен, что слова, произнесенные старшей инспектрисой Смольного института, ложились на поникшие плечи девушки, словно гири, и Катя отчетливо разобрала их, стоя довольно далеко.

– Под монастырь подведешь, гадина...

– Простите, – шевельнулась на пороге Катя.

Милейшая Анна Дмитриевна подняла красное от напряжения лицо.

– Что вам?

– Я... – Катя беспомощно замолчала.

– Вы разве не видите – мы разговариваем?

– Да-да, извините... Я просто хотела...

– Что вы хотели?

Катя набрала в грудь воздуха и одним разом выпалила:

– Нельзя ли, чтобы княжна Долицына вместо меня участвовала в приеме?

Милейшая Анна Дмитриевна некоторое время неподвижно смотрела на нее, а затем, не задав ни одного вопроса, кивнула.

– Можно... Только сейчас, пожалуйста, закройте дверь.

## 5 глава



При входе в Ла-Манш русский отряд был остановлен крепчавшим противным ветром. Корабли смогли продвинуться только до острова Джерси, в виду которого им пришлось приступить к маневрам. Устойчивые и мощные потоки уже по-летнему теплого воздуха несли с берега долгожданное благоухание трав и цветов, но при этом норовили развернуть суда прочь от дома.

– Теперь надолго застряли, – сказал Невельской, подходя к стоявшему на шканцах господину Семенову. – Непохоже, что скоро сменится.

– Кто сменится? – после продолжительной паузы спросил тот.

По всему было видно, что он совершенно не расположен к разговору. Он даже не повернул головы в сторону подошедшего офицера, продолжая вглядываться в очертания острова. Однако Невельской решил оставить это проявление неучтивости без внимания.

– Ветер, – пояснил он. – Похоже, надолго установился.

Господин Семенов пробурчал что-то недовольное себе под нос и замолчал. Остров, мимо которого они проходили в этот момент в абсолютно ненужном им направлении, казалось, его завораживал. Он изучал его в наступающих сумерках с таким вниманием, как будто занимался картографической описью и как будто от верности подмеченных им координат зависело нечто чрезвычайное.

– Мы еще не один раз тут пройдем, – нарушил молчание Невельской.

Он понимал, что господин Семенов не желает говорить с ним, но упрямо не оставлял его в покое.

– Да? – тот шевельнул, наконец, головой в его сторону. – И по какой, позвольте узнать, причине?

– Галсами<sup>42</sup> будем ходить – туда и сюда. Даст Бог, может, проскочим. До Портсмута здесь, в общем, рукой подать... Но если не повезет, несколько дней будем крутиться.

– Несколько дней?! – раздраженно переспросил господин Семенов. – Да как это можно – несколько дней? Мне в Петербург поскорей надо. У меня дела.

– Иногда бывает, что появляется коридор, – поспешил обнадежить его Невельской.

– Ну так пускай появится! – Господин Семенов развернулся к офицеру всем телом и уставился ему в лицо, словно тот лично отвечал за направление и перемены ветра в Ла-Манше.

Невельской улыбнулся, давая понять, что принял это как шутку и оценил не совсем обычное чувство юмора своего собеседника, но господин Семенов продолжал смотреть ему прямо в глаза, не отвечая на вежливую улыбку. Он напоминал в этот момент большую неприятную рыбу, которую вынули из воды и которая не понимает, зачем она оказалась в чужой среде.

Молчание между ними затягивалось, грозя перерасти в нечто большее, чем простая неловкость, и, скорее всего, непременно бы переросло, однако внизу на палубе поднялась вдруг шумная суета. Послышались крики, топот ног и даже бой барабана.

– Купец по левому борту! – отчетливо долетело до шканцев, и Невельской сумел наконец отвести в сторону взгляд, не теряя при этом лица.

---

<sup>42</sup> Галс (*нидерл. halse*) – курс судна относительно ветра.

Слева действительно наваливалось торговое судно под голландским флагом.

– С купцами всегда так, – заговорил Невельской, преодолевая чувство брезгливости к самому себе и понимая, насколько он унижается тем, что не уходит и продолжает свои попытки оставаться любезным. – Экономят на всем. Людей в экипаже мало. Рулевой наверняка один. Вахту ночную отстоял, а его снова к штурвалу. Вот и уснул, бедняга... Придется теперь из пушки палить.

В подтверждение его слов с батарейной палубы гулко ударило орудие. Настил под ногами вздрогнул.

– Ну? Слышите? А я вам что говорил? – Он с отвращением уловил в собственном голосе заискивающие нотки.

– Послушайте, господин лейтенант, – заговорил неприязненным тоном его собеседник. – Ведь я понимаю, для чего, собственно, вы это делаете.

– Что делаю? – ненавидя уже себя, переспросил Невельской.

– Да вот это... – Семенов неопределенно махнул руками, обведя все вокруг, словно отмахивался от назойливой мухи, или как будто обстоятельства, задерживающие корабль в проливе, были созданы именно Невельским. – Вы ведь нарочно хотите быть мне полезным. Занимаетесь моим просвещением. Не останови я вас – так вы, пожалуй, станете объяснять про «морские ноги» и про то, как их поскорей обрести.

– Я...

– Нет уж, позвольте мне досказать. – Господин Семенов прищурился и склонил голову набок. – Чтобы не осталось между нами неясного. И чтобы вы напрасно не утруждали себя. Если ночью звучит команда «Поставить брамсели»<sup>43</sup> – это значит, что можно спокойно спать. Когда в помощь прямым брамселям ставят лиселя<sup>44</sup> – это означает, что ветер попутный и ход у корабля будет легкий. Когда же кричат «Брать рифы»<sup>45</sup> – лучше спать не ложиться. Все равно не уснешь.

Говоря все это, господин Семенов уверенно и энергично указывал на те самые паруса, которые упоминал, в завершение своей тирады ткнув пальцем в сторону голландского судна.

– А вот сейчас будет сразу два выстрела. Рулевой на купце так и не проснулся.

Линейный корабль вздрогнул от сдвоенного пушечного залпа, и Невельской растерянно посмотрел в сторону подходящего все ближе голландца. Впрочем, озадачен он был вовсе не этой, в общем-то, привычной морской коллизией. Поражен он был поведением господина Семенова.

– Признайтесь, что просто хотите завоевать мое расположение, – продолжал тот насмешливым тоном. – Вас интересуют причины, которые привели меня на борт «Ингерманланда», и потому вы хотите, чтобы мы стали накоротке. Но этого не будет, господин лейтенант, позвольте вас уверить. Во всяком случае, не теперь. Скажите лучше: била вас матушка в детстве или нет?

Невельскому показалось, что он ослышался, но его собеседник сделал правой рукой такое движение, словно хотел высечь кого-то.

– Сама вас наказывала? Или кому-то из дворовых велела сечь?

Если бы господин Семенов в эту секунду мог заглянуть в душу безмолвно стоявшего перед ним офицера или увидеть физическое воплощение того, что ему удалось в нем пробудить, он, скорее всего, очень бы удивился. Однако за неимением такой возможности ему было невдомек, что за чудовище он вызвал к жизни, и потому он не только не окаменел от удивления, но, напротив, очень живо продолжал говорить:

---

<sup>43</sup> Брамсель (*нидерл. bramzeil*) – прямой парус.

<sup>44</sup> Лисель (*нидерл. lijzeil*) – парус, приставляемый при слабом ветре сбоку к прямым парусам для увеличения их площади.

<sup>45</sup> Брать рифы – уменьшать площадь парусов при увеличении силы ветра.

– Я по книгам вашим почему-то решил, что вы непременно должны быть из тех, кого в детстве часто наказывали.

– Так это вы, значит, были в моей каюте? – Голос Невельского прозвучал бесстрастно и глухо, отчужденно – словно с другой планеты.

– Ну, разумеется, – пожал плечами Семенов. – Мне ведь нужно было узнать, что вы читаете. Составить представление об образе мыслей, так сказать.

– Я желаю с вами драться, – негромко сказал Невельской. – Можете выбрать оружие.

Ночью он лежал без сна до такой степени неподвижно, что сам себе минутами казался надгробием на усыпальнице средневекового рыцаря, какие видел минувшей осенью в датском замке в самом начале этого похода. Каюта, досконально изученная за несколько месяцев плаванья, мягко покачивалась перед ним, а вместе с нею покачивался и дрожащий свет. Пламя на конце свечи наклонялось то в одну, то в другую сторону, и тени, отбрасываемые скудной корабельной утварью, меняли свои очертания, переползали с места на место, словно корабль и все, что его составляло, было живым и могло вести себя как положит на душу Бог. На суше тени всегда оставались предсказуемы и покладисты, прилежно занимая отведенное им свечой место, тогда как их судовые собратья были своенравны подобно настоящим морякам.

Невельской вспомнил об усопшем недавно архангельском корабельном мастере Андрее Михайловиче Курочкине, который задумал и построил для российского флота не только «Ингерманланд», но еще добрых полсотни других замечательных судов, и решил, что лучшего памятника, живущего вот такой своей собственной жизнью, воздвигнуть корабелу уже не сможет никто.

При закладке судно получило имя «Иезекииль», что должно было, очевидно, по мысли мастера символизировать карающий гнев Божий, описанный ветхозаветным пророком в первых главах его огненной книги. Залп с обоих бортов из семидесяти четырех орудий калибром до тридцати четырех фунтов, то есть ядрами весом в пуд, мог действительно обрушиться на неприятеля самую настоящую ярость Господа, однако после трагической гибели предыдущего «Ингерманланда» на норвежских скалах новому линейному кораблю было пожаловано его имя. Со времен Петра Великого в составе Балтийского флота почти непрерывно несло службу хотя бы одно судно с таким названием. Это было связано с тем, что свой «Ингерманланд», построенный собственными руками, Петр I специальным указом повелел «хранить для памяти» даже после окончания службы, но тот, простояв десять лет после кончины императора, в сильное наводнение затонул, подгнил и был разобран на дрова.

Не в силах уснуть, Невельской рассеянно блуждал мыслями от пророков из Ветхого Завета к флотским традициям и обратно – лишь бы не натолкнуться в этом смутном клубке на презрительно улыбающееся лицо господина Семенова. Он знал, что стоит зацепиться хотя бы за краешек мысли об этом непонятном ему человеке – и он не уснет уже до утра. Чтобы наверняка не думать о нем, Невельской встал со своей узкой кровати и потянулся к полке с книгами. Под ноги ему подвернулась крышка разбитого им после разговора с господином Семеновым рундука. Остальные части этого на поверку не очень крепкого ларя и всего, что содержалось в нем, были разбросаны по каюте. Вестового, который прибежал на грохот и попытался прибраться, Невельской вытолкнул вназад, прибавив еще немного в процессе, поэтому как минимум до утра ему предстояло мириться с некоторым беспорядком.

Переступив через крышку безвинно пострадавшего рундука, он потянул за корешок Библию, но массивный том, плотно втиснутый между другими книгами, не пожелал сдвинуться с места. Пока Невельской преодолевал его сопротивление, он снова невзначай вспомнил своего язвительного собеседника и слова о матушкиных наказаниях в детстве. На сердце у него стало так тяжело, что он рванул застрявший фолиант изо всех сил, отчего верхняя часть заскорузлого от старости корешка треснула и отлетела напрочь.

Книгу пророка Иезекииля ему удалось отыскать в Библии далеко не сразу. Нечасто он раскрывал этот том, а жалкий свет от огарка, плавающий по каюте в одном ритме с корабельной качкой, скорее усложнял, нежели облегчал задачу.

*«И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя...»*, – выхватил наконец Невельской в ускользящем свете.

Через пару мгновений, когда неверное сияние снова коснулось темной страницы, взгляд его уперся в строчку чуть ниже: *«И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы»*.

Сколько он помнил, речь в этой книге Ветхого Завета шла об иудеях, плененных царем халдейским Навуходоносором. Та опера Верди, которую давали в Лиссабонском театре чуть больше недели назад и сюжет которой великий князь Константин потом ему пересказал, тоже повествовала об этих событиях. Удивленный совпадением, Невельской закрыл книгу и положил ее на тумбочку у изголовья кровати.

Будучи человеком военным, и более того – морским, на борту корабля он верил в одни точные вещи. Баллистика, навигация, корабельное исчисление, отливы, приливы, сизигийные воды – все это подвергалось расчету, лежало в твердых границах, а главное – повторялось в строгой периодичности, на которой можно было с определенной уверенностью строить свои планы. Тайные знаки, символы, различные совпадения относились к области ненадежной, и оттого не принимались во внимание. Сферу невидимого, не постигаемого при помощи компаса, секстанта, линейки или циркуля Невельской оставлял женщинам и корабельному батюшке, хотя церковь посещал регулярно, а к исповеди и к причастию являлся во все отведенные для этого дни.

Мысли о предметах нематериальных развлекли его ненадолго. Через десять минут он уже снова терзал себя, перебирая одну за другой подробности своего унижения в разговоре с ненавистным господином Семеновым. Пуще всего он был уязвлен той легкостью, с какой этот штатский отмахнулся от его вызова, словно на поединок его вызывал не вахтенный офицер великого князя, а безобидный несмышленный ребенок, и главное – Невельской почему-то сразу почувствовал, что этот человек имеет право на подобное превосходство. Последние несколько лет службы рядом с юным императорским сыном, в результате которых между ними сложились теплые и даже доверительные отношения, не то чтобы вскружили ему голову, безосновательно уверив его в собственной недостижимости для всех прочих людей, но все же до известной степени давали ему основание ощущать себя выше других. Теперь же ему с предельной ясностью и даже с некоторой беспощадностью были указаны его место и тот непреложный факт, что его положение при великом князе ровным счетом ничего не значит. Мучаясь от унижения, на которое он пошел и на котором был пойман, как мальчишка, задумавший что-то украсть у родителей из буфета, Невельской вспоминал насмешливый взгляд господина Семенова и самообладание, с каким тот реагировал на проход купца у самого борта «Ингерманланда». Рулевого на голландце удалось разбудить едва не в самый последний момент, и суда разошлись в считанных метрах, однако штатский господин даже глазом не моргнул, словно всякий день принимал участие в таких передрягах, и вот именно это его хладнокровие отчего-то уязвляло теперь Невельского сильнее всего.

Наутро он явился в адмиральский салон. Сделать это ему то ли посоветовал, то ли приказал накануне господин Семенов. Командующий отрядом был готов, наконец, принять его, и то, что аудиенцию так легко мог устроить неизвестно откуда появившийся на борту таинственный пассажир, говорило о многом. Никогда до этого, за все долгие годы службы под командованием Федора Петровича Литке не подвергался еще Невельской столь длительному и ничем не разъясненному отстранению от всяких контактов с адмиралом. Теперь, благодаря постороннему, но явно обладавшему неограниченными полномочиями человеку, у него появилась возможность хоть что-то узнать о своем положении. В десятый раз придиричиво оглядывая свой

офицерский сюртук с эполетами в поисках малейшей погрешности, он пришел к выводу, что, возможно, вчерашнее унижение все-таки не было напрасным.

Карьера в ближайшем окружении великого князя временами тяготила его малозначительной рутинной и скукой, но тем не менее Невельской ею дорожил. Его не так уж сильно воодушевляло то, что другие считают его положение блестящим и очевидно завидуют ему. Он не был тщеславен в том простом или, лучше сказать, детском смысле, когда мнение о нас окружающих составляет главную и единственную нашу цель. Однако он хорошо помнил о судьбе Степана Михайловича Китаева, женившегося в свое время на Анне Тимофеевне Полозовой – родной сестре его матушки. Этот храбрый моряк принял за свою жизнь участие не в одном славном сражении, особенно отличившись в Отечественную войну 1812 года при осаде Данцига и получив за то высший воинский орден империи – Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Командовал бомбардирским кораблем, дослужился до капитана 1 ранга, а затем в одночасье был вдруг разжалован в матросы в 1827-м. Почему это произошло и насколько серьезной могла быть причина столь кардинальной перемены участи моряка – об этом в семье вслух не распространялись, но главное, что Невельской усвоил из тревожных перешептываний матушки с ее сестрой, из тяжелого затворничества дяди и жалкого, постоянно пристыженного поведения двоюродных братьев и сестры, формулировалось ровно в двух словах: такое возможно.

В адмиральском салоне его ожидали командующий отрядом, командир флагманского корабля и господин Семенов. Все трое были оживлены, обсуждая что-то весьма горячо вплоть до того момента, как Невельской постучал в дверь, поэтому, когда он вошел, у него сложилось впечатление, что им трудно было остановиться и не говорить больше в его присутствии.

– Прошу вас, Геннадий Иванович, – на правах хозяина указал ему на стул адмирал Литке.

Салон командующего располагался прямо под шканцами, и Невельской отметил, что предложенный ему стул по странному совпадению стоит ровно под тем самым местом, где прошедшим вечером у него состоялся непростой разговор с господином Семеновым.

– Хотите чаю? – спросил Литке.

– Никак нет, господин вице-адмирал, – отрапортовал Невельской, тут же поднимаясь со стула.

Литке раздраженно махнул на него рукой, давая понять, что формальности неуместны и что вставать было ни к чему.

Командир корабля, тяжело вздохнув, поднялся с дивана. Невельской при этом заметил, что он избегает взглядом сидевшего у стола штатского, хотя тот в свою очередь не сводил с него глаз.

– Я, пожалуй, пойду, Федор Петрович, – сказал Мофет. – Мнением своим я поделился. Добавить по этому вопросу мне больше нечего.

– Спасибо вам, Самуил Иванович, – кивнул вице-адмирал. – Не буду задерживать.

Когда Мофет вышел, в адмиральском салоне на несколько минут установилось молчание. Ни Литке, ни господин Семенов не начинали разговора, в то время как Невельскому и не положено было его начинать. Сидя на удобном адмиральском стуле, он молча ждал прояснения своей участи. Ладони его были неестественно холодны. Пытаясь избавиться от предательски проступившей на них влаги, он крепко прижимал их к сукну своих форменных брюк.

В былые времена такие салоны в корме корабля, состоявшие из кабинета и спальни, тоже оснащались орудиями.

В походе пушки прятались за драпировками, но при начале боя временные переборки снимались, все лишнее удалялось, и каюта адмирала становилась кормовой орудийной палубой. На современных судах такая практика изжила себя, к тому же Федор Петрович Литке был скорее ученым, путешественником и царедворцем, чем боевым адмиралом, от этого и салон его представлял собой помещение для удобной жизни, а не для баталий.

– Что это за шум вчера был в вашей каюте? – заговорил, наконец, командующий отрядом.

– Вещи переставлял, – без малейшей запинки ответил Невельской.

– Вот как? – Вице-адмирал секунду или две молча смотрел в глаза своему подчиненному, а затем покачал головой. – Мне доложили, что грохот стоял как во время боя.

– Тяжелые предметы, ваше превосходительство.

Невельской, не моргая, уставился на огромный лоб Литке, простиравшийся почти до середины его головы. Короткие волосы, скрывающие то, что располагалось дальше, обрамляли эту лысину подобно тому, как плотный и приятный на ощупь мох обрамляет сверкающий на солнце во время отлива морской камень.

– Несдержанны вы, господин лейтенант, – нахмурился Литке, и длинные густые усы его с проседью осуждающе опустились концами вниз.

– Никак нет, ваше превосходительство.

– И упрямы.

Взгляд вице-адмирала утратил обыкновенную в обращении с Невельским приветливость, и тот понял, что вот на сей раз лучше промолчать.

– Я ведь помню вашего дядюшку, – продолжал командующий отрядом. – Норов у него тоже был, я вам скажу, не приведи Господь. Под горячую руку запросто мог человека за борт выбросить.

– Какого дядюшку?

– А у вас их разве много во флоте служило? – Литке с подозрением взгляделся в лицо подчиненного, пытаясь уяснить, дерзит ли тот снова или действительно не понимает, о ком идет речь.

– Несколько человек, – пожал плечами Невельской. – И по матушке, и по батюшке.

– Китаев. Степан Михайлович. Я о нем при осаде Данцига в первый раз услышал в наполеоновскую войну. «Бобр» у него под командованием, кажется, был. Знаменитым он тогда стал человеком, этот ваш дядюшка. Вся эскадра о нем гудела. То подвиги небывалые на своем «Бобре» совершает, а то вдруг такое, знаете ли, учудит...

Литке продолжал рассказ о поразивших его в молодости выходках лихого Китаева, затем как-то незаметно перешел на свои собственные гардемаринские воспоминания о той славной кампании против Бонапарта и о своем производстве в мичманы за отвагу, проявленную в возрасте всего лишь пятнадцати лет, но Невельской практически не слышал его. Умело кивая впопад и с готовностью улыбаясь, когда на губах вице-адмирала всплывала улыбка, он прятался за маску вежливого собеседника, тогда как сам не понимал уже ни слова из того, что говорил командующий. В голове у него пульсировал и принимал различные формы один-единственный воспаленный вопрос: к чему Литке завел речь о его близком родственнике, которого разжаловали в матросы?

Монолог вице-адмирала остановил негромкий, но настойчивый кашель господина Семенова. Тот начал кашлять не так, как это бывает, когда у человека вдруг отчего-то запершило в горле и он не в силах сдержать желание прочистить его, а так, словно рядом запустили в работу какой-то механизм и тот через равные промежутки времени стал производить абсолютно одинаковые по тону и по громкости звуки, напоминающие равномерное падение камешков с небольшой высоты.

Федор Петрович озадаченно замолчал, глядя на господина Семенова, еще несколько мгновений продолжавшего издавать свои механические звуки, а затем перевел взгляд на подчиненного ему офицера.

– Степан Михайлович мне не родной дядя, – излишне порывисто в наступившей тишине сказал Невельской. – Он только был женат на моей тетушке.

– Да-да, конечно, – отстраненно кивнул командующий, поднимаясь на ноги из своего кресла.

По его переменявшемуся тону было понятно, что ни это «да, да, конечно», ни слова Невельского не имеют уже никакого значения. После сигналов господина Семенова мысли вице-адмирала вернулись к тому предмету, что беспокоил его в самом начале разговора и от боязни перед которым он все никак не мог начать этот разговор. Воспоминания о боевой молодости несколько развлекли его и приободрили, однако теперь со всей очевидностью он должен был обратиться к тому, о чем ни говорить, ни даже думать совсем не желал.

– Вот, возьмите, Геннадий Иванович, – протянул он Невельскому свернутый лист, лежавший до этого посреди стола.

– Что это?

– Прочтите, пожалуйста. Это для вас.

Невельской кивнул и хотел убрать лист в карман сюртука, но Литке жестом остановил его.

– Нет-нет, здесь прочтите... Прошу вас.

С этими словами он покосился на господина Семенова, сидевшего у стола с таким видом, словно все, что происходило сейчас в адмиральском салоне, к нему лично не имело ни малейшего отношения. Он рассеянно покачивал ногой, закинутой на другую ногу, и даже слегка завернул голову к окну, поглядывая на блестящую за кормой в лучах солнца морскую поверхность. Неподдалеку снова виднелся проплывающий мимо остров Джерси.

– Я прошу вас, Геннадий Иванович, – с каким-то особенным значением повторил Литке, и Невельской, приложив усилие, чтобы волнение его осталось незамеченным, раскрыл свернутый лист.

Он читал выведенные чьим-то идеальным почерком строки, и с каждым прочитанным словом, которое далеко не сразу укладывалось у него в сознании, а проникало туда постепенно, медленным камнем опускалось куда-то на дно, в глубокий и вязкий ил, – с каждым этим словом все, что занимало его до сих пор, все, что беспокоило его и мучило – непонятная опала, и то, что произошло в Лиссабоне, и даже холера на борту, и разнообразные политические спекуляции, – все это, такое важное и гигантское до сих пор, с каждым прочитанным словом становилось все меньше, и меньше, и меньше, неотвратимо приближая его к пониманию того, что он никак не хотел понять, отказывался понимать, но сквозь этот отказ уже проступали черты неизбежной правды, которую он воспринимал, словно известие о ком-то другом, чужом и совершенно постороннем ему человеке, но при этом все равно знал, что речь идет именно о его матери, и что это не может не быть правдой, потому что она действительно была на такое способна.

Он бы очень хотел, чтобы строки у него перед глазами расплылись, вдруг стали туманными и неясными, чтобы смысл от него ускользнул, однако написанное на листе оставалось предельно четким и каллиграфически совершенным:

«... в связи со всем вышеуказанным ноября 15 1845 года по Высочайшему повелению Его Императорского Величества сенатору князю Лобанову-Ростовскому поручено произвести следствие о мертвой девке госпожи Невельской, Анне Никитиной, найденной в реке Вексе со связанными руками...»

Корабль, обогнув остров, приступил в этот момент к маневру. Адмиральский салон ощутимо накренился. Стоявшая рядом с господином Семеновым чернильница поехала по столу и ткнулась ему в локоть. Инстинктивно отдернув руку, штатский тут же сообразил, что чернила из-за особой конструкции выплеснуться наружу не могут, но чернильница со стуком уже упала со стола. Господин Семенов склонился за нею, и это позволило Невельскому оторвать взгляд от письма. Глядя на склонившегося под стол человека, он догадался, что все это время тот исподтишка наблюдал за ним, а самое главное – что охватившую его самого при чтении письма бурю необходимо скрыть. Любой ценой нужно было оставаться бесстрастным.

Невельской посмотрел на Литке. Тот нервно поглаживал усы. Заметив взгляд подчиненного, он покачал головой, словно давал понять, что усилий Невельского пока недостаточно.

Господин Семенов дотянулся до закатившейся далеко под стол чернильницы, которую удержала от дальнейшего движения по наклонной плоскости ножка одного из массивных адмиральских стульев. Со шканцев через открытое окно долетел голос вахтенного офицера, отдающего команду о завершении маневра. На бизань-мачте хлопнул поймавший ветер огромный парус, и судно стало выравниваться относительно килея. Господин Семенов, выпрямляясь, стукнулся головой о столешницу, негромко зашипел и чертыхнулся. Этим секундам Невельскому хватило на то, чтобы совершить надлежащее усилие и, хотя бы внешне, взять себя в руки. Лицо его приняло такое безотносительное выражение, какое требуется при серьезной игре в карты, и выпрямившийся господин Семенов мог с тем же успехом искать следы растерянности на покрытой ковром переборке, которая располагалась в нескольких метрах от него.

Опустив снова взгляд на исписанный лист бумаги, Невельской прочел, что в декабре 1845 года, то есть приблизительно полгода назад, Костромское дворянское депутатское собрание постановило взять имение его отца в опеку «ввиду жалоб крестьян на жестокости и несправедливости их госпожи, Ф. Т. Невельской». Сама Федосья Тимофеевна, а также его младший брат Алексей 8 октября были заключены под стражу.

Пока он дочитывал, господин Семенов, не моргая, смотрел на его лицо. Подняв голову, Невельской безучастно ответил на этот взгляд, затем свернул лист, встал со стула, положил письмо на адмиральский стол и повернулся к командующему.

– Разрешите идти, ваше превосходительство?

Литке кивнул, покосившись на штатского, и Невельской вышел из салона с таким видом, какой мог быть у него, если бы они обсуждали самые обыкновенные в их корабельном быту и скучные вещи.

## 6 глава



Утро, избранное камергером двора Его Императорского Величества коллежским советником Федором Ивановичем Тютчевым для визита в Морской корпус, выдалось в Петербурге уже по-настоящему майским. Учебный плац перед зданием офицерской казармы был так щедро полит солнцем, что два деревца рядом с будкой дежурного как будто робели отбрасывать тень. Сама будка тоже совершенно тонула в золотистом сиянии, словно в глубокой воде, как это бывает с будками и с водой во время петербургских наводнений.

По случаю хорошей погоды построение кадетских рот решено было провести не позади казарм, как обычно, а на плацу, чтобы каждый проходивший мимо Морского корпуса мог насладиться видом бравых воспитанников, сверкавших на солнце металлическими пуговицами, пряжками и кокардами. Лучики расплавленного золота, исходящие от кадетской амуниции, тысячекратно умножали сияние майского утра, и всякий заглядевшийся на ровнехонькую шеренгу прохожий вынужден был прикрывать глаза рукой от этого нестерпимого великолепия юности, флота и дисциплины.

Единственным человеком, которого совершенно не занимало это зрелище, был Федор Иванович Тютчев. Казалось, что всеобщая радость жизни, буквально разлитая в воздухе, напротив, безмерно раздражала его, и с целью укрыться от всего этого как можно надежней он отступил подальше за будку, с тем чтобы между ним и кадетской шеренгой непременно оставалось это невзрачное строение. Он ждал, когда за ним придут от капитан-лейтенанта Нефедьева, служившего некогда с его пасынком Карлом и занимавшего теперь в Морском корпусе значительный пост. Интерес к стоявшим неподалеку кадетам Тютчев проявил, только услышав, как пожилой и слегка горбатый мичман песочит одного из этих мальчишек. Зычный голос много послужившего на кораблях моряка перекрывал общий гомон команд, летевших над плацем от одной роты к другой.

– Кадет Бошняк! Стоять смирно!

Вытянувшийся буквально в струну перед строем юноша постарался вытянуться еще больше, задрвав подбородок уже совсем куда-то в сияющее майское небо, но его наставнику и близко не было достаточно этих усилий. Судя по его лицу и голосу, он вряд ли утихомирится бы даже в случае полного превращения кадета в адмиралтейский шпиль.

– Как стоишь?! – кричал он. – Почему опоздал на общее построение?

– Господин мичман... – попытался ответить кадет.

– Молчать! Снова где-то в углу свои стишонки пописывал?!

Кадет горестно сник, и в этот момент к Тютчеву подбежал дежурный матрос.

– Извольте пройти! Вас ожидают.

Шагая за своим провожатым по плацу, коллежский советник еще оборачивался в попытках уловить окончание спора, однако за гвалтом команд и строевым шагом начавших перестроем рот ему ничего не было слышно.

– Федор Иванович! Дорогой! – радушно встретил его на пороге своей комнаты капитан-лейтенант Нефедьев. – У меня просто слов нет, как я рад вас увидеть!

– Вам и не надо слов, – без улыбки ответил Тютчев. – Слова все у меня.

Морской офицер на секунду опешил, а затем понимающе рассмеялся:

– Ну да, ну да! Вы же – поэт. Вам, как говорится, и карты в руки.

– Я не играю в карты, – по-прежнему сухо отвечал гость, показывая, что не намерен вступать в обмен пустыми любезностями.

Офицер, впрочем, справился и с этой неловкостью, решив, очевидно, не обращать внимания на странности коллежского советника. Ему на самом деле было приятно, что тот вдруг явился к нему на службу, и теперь капитан-лейтенант мог похвастаться этим при случае перед знакомыми дамами.

Пяти минут им хватило на обсуждение нынешних дел Карла, который с недавних пор служил в русском посольстве в Дрездене и собирался теперь в Ригу, чтобы забрать оттуда больного брата, после чего возникла неприятная пауза. Тютчев просто замолчал, глядя в окно, а Нефедьев не знал, нужно ли ему говорить одному, и главное – о чем. Наконец, он нашелся предложить своему гостю чаю, но тот лишь махнул рукой и прямо заговорил о том, ради чего пришел.

– У меня, знаете ли, на днях умер отец...

– О, примите мои соболезнования... – капитан-лейтенант начал привставать с кресла, но гость его раздраженно поморщился.

– Не надо этого ничего, – сказал Тютчев. – Никто не в силах понять, что я испытываю... Однако же по причине траура мне будут непозволительны определенные увеселения, тогда как я обещал быть на приеме в Смольном по поводу возвращения средиземноморской эскадры.

– Отряда, – невольно поправил его капитан-лейтенант.

– А это имеет значение? – перевел на него Тютчев поблескивание своих очков, за которыми, как в морском аквариуме, шевельнулись два тусклых моллюска.

– Три корабля – это не эскадра.

– Прекрасно. Пусть будет по-вашему... Вместе с отрядом, – слово «отряд» он выделил своим скрипучим голосом так звучно, словно кто-то наступил мокрой ногой на резиновую игрушку, – вместе с отрядом в Петербург возвращается Его Императорское Высочество великий князь Константин.

– Да-да, мне это известно.

– Потрудитесь меня более не перебивать.

– Простите, Федор Иванович, я умолкаю.

Тютчев сделал еще одну внушительную паузу, которая должна была окончательно указать капитан-лейтенанту его место, и только после этого соизволил продолжить:

– Воспитанницы института готовят по этому случаю концерт. Одна из них обратилась ко мне с просьбой написать соответствующее данному событию стихотворение. Она обучается в одном классе с моими дочерьми и хочет прочесть поэтическое произведение великому князю. Стихотворение готово, однако по вышеуказанной причине я не смогу присутствовать на приеме, и поэтому желал бы передать его с одним из ваших воспитанников, направляющихся в Смольный для репетиции.

О том, что его траур был не единственным препятствием к посещению института, коллежский советник предпочел умолчать. Милейшая Анна Дмитриевна после тяжелого разговора со своей племянницей, нечаянным свидетелем которого недавно стала Катя Ельчанинова, нанесла визит самому Тютчеву. Беседа их была короткой, но энергичной. Путь в Смольный Федору Ивановичу отныне был заказан. Дочерей могла навещать только его жена. Тютчев решил, что со временем он одолеет это препятствие, поскольку никакая старшая инспектриса не бывает вечной, и у него, конечно, имелись возможности повлиять на ее судьбу, но до поры все же требовалось привлекать к себе меньше внимания. Искусство дипломатии он ставил выше своего поэтического дара, и там, где поэт уже не справлялся с поставленной задачей, на сцену немедленно выходил дипломат. Задача же у обоих была одна – заставить всех окружающих если не поклоняться, то хотя бы смиренно служить ему.

– Сейчас велю принести список откомандированных на этот прием кадет, – сказал капитан-лейтенант, направляясь к двери.

– Не нужен списка, – остановил его Тютчев. – Я уже выбрал юношу.

– Вот как? – удивился офицер. – А вы знакомы с кадетами?

– Нет. Но этот мне подойдет. Его фамилия Бошняк. Прикажите ему явиться сюда.

– Но он ведь, возможно, не в списке.

– Значит, внесите его. Или мне нужно за такой мелочью беспокоить светлейшего князя Александра Сергеевича?

Имя морского министра произвело немедленный эффект, и уже через пять минут перед коллежским советником навьютку стоял тот самый кадет, которого недавно песочил старший мичман. Капитан-лейтенант Нефедьев сослался на занятость и оставил их наедине. Тютчева это более чем устраивало. Он собирался обработать мальчишку так, чтобы тот не просто выполнил его поручение, но и не проболтался потом никому о деталях. Для этого Тютчеву надобно было снова вызвать на сцену поэта, и лишних тому свидетелей он не хотел – уж точно не капитан-лейтенанта Нефедьева.

Замерший перед ним юноша настолько робел, что неподвижно смотрел куда-то под потолок, стараясь не соскользнуть нечаянно взглядом на сидевшего в кресле сорокалетнего старика.

– Стихи сочиняешь? – прервал наконец молчание коллежский советник.

Лицо мальчика растерянно обмякло, потеряло вдруг всю положенную кадету воинскую устремленность, и на Тютчева безоружно посмотрел слегка напуганный ребенок. Вместо ответа ребенок нерешительно кивнул.

– Похвально. А мои сочинения знаешь?

Коллежский советник был уверен, что по дороге сюда юноше сообщили, кто его ждет.

– Так точно! – отчеканил кадет, снова обращаясь в военного человека.

– Какие, например?

Мальчик два раза моргнул, набрал полную грудь воздуха и залпом выпалил:

– «Глядел я, стоя над Невой,  
Как Исаака-великана  
Во мгле морозного тумана  
Светился купол золотой!»

Декламация его в самом деле напоминала залп корабельных пушек, и этот неуместный в лирике напор поразил Тютчева прямо в сердце. Захваченный врасплох, он ощутил, как на глаза ему набегают слезы, но не потрудился их скрыть. Коллежский советник и вообще-то считал, что вовремя сверкнувшая слеза украшает стихотворение, а тут ему надо было непременно и как можно скорее выстроить мост взаимного чувствования между собой и этим уже удивившим его юношей.

– Бошняк, о котором пишет Пушкин в «Истории пугачевского бунта», тебе часом не родственник?

– Так точно! – снова отрапортовал кадет. – Это мой прадед. Принимал участие в защите Саратовской крепости от разбойника.

Лицо коллежского советника приняло элегический вид.

– Вот так чередуются поколения, – печально сказал он. – Не зная друг друга. Уходят во тьму бесконечную чередой. Только что я потерял отца, а до этого – любимого своего спутника, милую до боли в сердце жену. Ах, как ужасна смерть, как ужасна... Существо, которое любил в течение двенадцати лет, которое знал лучше, чем самого себя, которое было твоей жизнью и счастьем, – женщина, которую ты видел молодой и прекрасной, смеющейся, нежной и чуткой, –

и вдруг мертва, недвижна, обезображена тленьем. О, ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать это. Я только раз в жизни видел, как умирают... О, юноша, смерть ужасна!

Коллежский советник умолк, а совершенно оторопевший кадет перевел дыхание. За все то время, пока Тютчев разливался перед ним о смерти, о тлении, об ужасе, он не сделал практически ни одного вдоха, инстинктивно задерживая воздух в груди, как будто погружался в темный и холодный морской провал. Старик поднял на него взгляд, оценил силу своего воздействия и с большим удовольствием продолжил. Он давно уже знал, что жертву красноречия нельзя выпускать из цепких щупалец более, чем на одну минуту.

– Что ни говори, в душе есть сила, которая не от нее самой исходит. Лишь дух христианства может сообщить ей эту силу... В первую минуту утраты, независимо от возраста, в котором она наступает нас, испытываешь совсем особое чувство покинутости и беспомощности. Ощущаешь себя постаревшим на двадцать лет, ибо сознаешь, что на целое поколение приблизился к роковому пределу... Это была натура лучшая из лучших – душа, благословленная небом.

Кадет, не уловивший того, что старик вещает уже о своем недавно почившем отце, представлял самого себя рядом с телом умершей в каком-то романтическом гроте прекрасной и нежной подруги, и, хотя подруги у него никакой не было, на душе его стало так печально, что он вдруг заплакал.

– Как тебя зовут? – спросил его абсолютно удовлетворенный произведенным эффектом Тютчев.

– Коля, – ответил кадет, вытирая ладошкой глаза.

– Мне нужна твоя помощь, Коля.

На следующий день ровно в полдень группа воспитанников Морского корпуса решительно, как на штурм, вошла во двор Смольного института. Шаг они чеканили с такой яростью, что унтер-офицер интендантской службы, которого отрядили для общего присмотра и соблюдения чина, начал беспокоиться за сохранность выданных всем по случаю новеньких сапог. Грохот мгновенно долетел до распахнутых в долгом и трепетном ожидании окон второго этажа, и все находившиеся в большой зале смолянки повисли на подоконнике. Две классные дамы попытались воззвать к их чувству приличия, однако чувство это, по всей видимости, улетучилось в сей момент в неизвестном никому здесь направлении. Девицы наваливались на подоконник, толкались, подпрыгивали и по какой-то причине были не в силах сообразить, что окон в зале числом значительно больше, чем одно. Княжне Долицыной в суতোлке прищемили ладонь, и она от этого сделалась даже счастливей. Обожание, которому истово предавались девушки в Смольном, начиная со времен императрицы Екатерины, утратило наконец эфемерные выдуманые черты и обрело черты реально и даже пребольно ущемленной ладони. Начала совместной репетиции более восхитительного нельзя было и придумать.

По иронии, присущей вселенной в отношении почти ко всякому жаркому устремлению человека, добровольно оставшаяся на нелюбимое всеми дежурство в кухне Катя Ельчанинова стояла у окна в первом этаже совершенно одна, ни с кем не толкалась, ни из-за какого плеча не выглядывала, а просто и прямо смотрела на подходящих к Смольному кадет. Те, в свою очередь, не видели никого от распивавшей их важности и желания поразить нежных зрителей флотской удалью, каковой имелось в них по молодости лет преизрядное пока еще количество. Один только шедший в хвосте колонны Коля Бошняк все замечал и везде посматривал. Он хоть и не был чужд молодецких повадок, надеваемых на себя всяким кадетом, а уж тем более гардемаринном, стоило любому из них выйти за ворота корпуса, однако данное коллежскому советнику обещание требовало от него сейчас иной собранности, поэтому на изображение удали внутренних сил у него уже не оставалось. Увидев одинокую фигуру в окне первого этажа, он тотчас решил, что это и есть нужный ему адресат, поскольку от девушки – то ли по причине особенно упавшего на нее солнца, то ли из-за переполнявшего самого Колю восторга

– исходило заметное и не объяснимое ничем иным, кроме как тем, что это она и есть, радостное сияние.

Тем не менее на репетиции Коля ее не обнаружил. Милой очаровательной блондинки с сияющими волосами не было среди воспитанниц института, выстроенных попарно с кадетами. Милейшая Анна Дмитриевна горячо пыталась убедить начальницу Смольного в том, что пары должны стоять клином, устремляющимся своей вершиной к царской семье, а вовсе не двумя колоннами вдоль стен, как обычно, в то время как Коля озадаченно вертел головой, отчаиваясь уже найти необходимую ему девушку. Коллежский советник настрого запретил ему передавать конверт через третьих лиц. Любая корреспонденция смолянок – как доставленная по почте, так и переданная классным дамам – непременно досматривалась, поэтому Тютчев настоятельно требовал передачи послания из рук в руки. Он объяснил Коле, что девушка желает сделать на приеме сюрприз великому князю и его матушке, а в случае досмотра и преждевременного прочтения сюрприза уж никакого не будет.

Затянувшийся спор между милейшей Анной Дмитриевной и начальницей института разрешился в итоге в пользу последней, и пары были наконец установлены ровными колоннами вдоль стен. Девушки старшего класса, сменившие повседневные зеленые платья на бальные белые, напоминали две гирлянды нежных цветов. Колю поставили рядом с плотной барышней, лицо у которой настолько покрывали белила, что даже брови и губы ее отливали смертной белизной. Барышня отчего-то была Колею недовольна и всячески старалась показать ему свое небрежение. Судя по тому, с каким пылом она посматривала в сторону высокого и статного кадета Берга, стоявшего в паре с худосочной зеленоглазой девицей, становилось понятным, что она считала подобную расстановку несправедливостью, зеленоглазую девицу – выскочкой и, разумеется, предпочла бы иметь рядом с собой Берга, а не задумчивого и крайне невнимательного к переходам Колю. Во время репетиции этих переходов он то и дело ошибался, подавал ей не ту руку, плохо следил за ее движениями, а когда она опускалась в глубоком придворном реверансе, не всегда успевал выйти вовремя на поклон. Кланялся он от этой своей невнимательности то стене, то соседней девице, которая, кстати сказать, по миловидной внешности гораздо более заслуживала поклона, чем его беленая и уже страшно сердитая визави, а однажды умудрился поклониться швейцару, стоявшему у двери. Мысли его были заняты лишь одним: как улизнуть отсюда и найти ту самую девушку. Со стороны же казалось, что он нарочно не слушает счета шагов, громко ведомого одной из классных дам, и в конце концов это привело к натуральному конфузу.

Спутница его остановилась, не завершив репетируемый поворот, и громко, отчетливо сказала:

– Просто болван какой-то.

– Я не болван, – попробовал защититься Коля, но это было уже не нужно.

– Княжне Утятинной настоящий партнер достался, – запальчиво продолжала Колина визави, указывая гневным и тоже беленым пальчиком в сторону кадета Берга. – А мне – какое-то чучело.

На этот раз Коля уже не стал возражать, соглашаясь быть чучелом, тогда как милейшая Анна Дмитриевна устремилась в их сторону, расталкивая смешавшихся кадетов и воспитанниц института.

– Княжна Долицына! – воззвала она. – Немедленно вернитесь в позицию!

– Не вернусь, – ответила гордая смолянка и отошла от Коли с такой стремительностью, как будто боялась заразиться от него чем-нибудь.

Несколько девушек тотчас окружили ее, составляя ей как бы свиту, остальные в растерянности сбились в стайки, а кадеты беспомощно смотрели друг на друга и на интенданта, прибывшего с ними сюда. Порядок в зале был окончательно разрушен, и Коля внезапно понял, что лучшего момента для исполнения замысла судьба может ему уже не подарить. Незаметно

пройдя за спинами своих товарищей, увлеченных ссорой двух княжон и попытками классных дам восстановить мир, он открыл дверь, не охраняемую боле швейцаром, и оказался в просторном коридоре. И в ту, и в другую сторону коридор был пуст. Все остальные воспитанницы сидели в своих классных комнатах на занятиях.

Вспомнив, что видел сияющую девушку в окне первого этажа, Коля направился к лестнице. Чем ближе он к ней подходил, тем сильнее подхватывало его необъяснимое ощущение. Ему нравилось все в этом большом пустом коридоре – стены, двери, тишина в классных комнатах. Даже гулкий отзвук его собственных шагов таинственно говорил ему о грядущем счастье. Выйдя на лестницу, он увидел поднимающуюся ему навстречу ту самую девушку. Мир вокруг сделался до такой степени странным, что Коля вежливо кивнул и зачем-то прошел мимо. Девушка в зеленом платье с небольшим интересом посмотрела на него, кивнула в ответ и скрылась в коридоре. Коля на секунду замер, а затем побежал по лестнице вверх. Ступеней теперь оказалось неизмеримо больше. Их кто-то явно добавил, пока он в растерянности соображал, как поступить.

– Простите! – выпалил он, догоняя девушку. – Я должен передать вам одну вещь!

– Мне? – она остановилась и рассматривала его с таким ровным спокойствием, словно кадеты из Морского корпуса бегали за ней по Смольному каждый день.

– Ну, то есть не вещь... – Коля замялся, потом сообразил, что нужно делать, и выхватил из кармана конверт. – Вот! Это вам.

Девушка взглянула на имя адресата, чуть размытое из-за того, что у Коли от нервов вспотели руки, и покачала головой.

– Это Лене Денисьевой.

– А вы разве...

– Нет. Я – Екатерина Ивановна Ельчанинова.

– Екатерина Ивановна? – совсем потерявшись, протянул Коля.

– Да. А вас как зовут?

– Коля... – начал было он, но тут же спохватился. – Кадет Николай Бошняк!.. Константинович.

Девушка наконец улыбнулась, и мир от ее выразительных голубых глаз обрел равновесие.

– Очень приятно. Если хотите, я могу передать ваш конверт.

Коля безотчетно протянул ей послание коллежского советника, однако тотчас отдернул руку. Поняв свою грубость, он опять сбился, забормотал что-то невразумительное, поэтому Кате пришлось его остановить.

– Я поняла. Вы должны вручить лично. Боюсь, что сейчас ее в Смольном нет. Она теперь живет отдельно и приходит не на все занятия. Придется вам подождать.

– А сколько? – Он с тоской посмотрел на дверь большой залы, понимая, что его там вот-вот должны хватиться.

– Этого я не могу вам сказать. Нужно смотреть расписание «серого» класса. Она ходит, по-моему, на французский, геральдику и архитектуру.

Разговор их неожиданно прервался громким стуком двери, ведущей в бальную залу. Коля испуганно обернулся, ожидая увидеть своего командира, но грохот устроил вовсе не разгневанный интендант, потерявший своего подопечного, а маленькая княжна Утятинна. Хлопнув дверью, она бросилась по коридору, промчалась между отпрянувшими в стороны Колей и Катей, после чего в слезах скрылась за поворотом, бормоча и повторяя на разные лады одно и то же:

– Поганая душечка! Бессовестная!

Катя покачала головой и сделала свое предположение:

– Должно быть, снова княжна Долицына что-то у нее отняла.

– По всей видимости, Берга, – сказал Коля.

– Берга? А что это такое? – Большие голубые глаза ровно смотрели на Колю, и, к его удивлению и даже растерянности, в них не было и тени того смущения, от которого сейчас так страдал он сам.

Его собеседница оставалась естественной во все время их разговора. Ее ничто не удивляло, не стесняло, не беспокоило. Любой поворот, любое событие она принимала как должное, словно знала, что это произойдет, и загодя была готова к тому, что это произойдет – именно здесь, именно сейчас, именно в такой форме. Колю все больше подавляли эта живая магия и какое-то природное величие в пятнадцатилетней девочке, поскольку в себе он ничего подобного не ощущал.

– Что это – берга? – переспросила она.

– Не «берга», а Берг... Это кадет. Мой товарищ... Ну, то есть мы не совсем товарищи, потому что он... Вернее, потому что я...

– Вы с ним не дружите, – помогла ему Катя.

– Нет, я просто ему завидую, – неожиданно для себя самого признался Коля.

Удивляясь тому, что он это сказал, Коля одновременно чувствовал, что не мог не сказать этого, и что не сказать этого именно перед странной девушкой в зеленом платье по какой-то причине было просто нельзя.

– Стало быть, вы завидуете? – переспросила она.

– Да.

– Хорошо, – сказала Катя, повернулась и пошла прочь.

Коле нестерпимо захотелось остановить ее и узнать, почему было хорошо то, что он завидовал Бергу, но в этот момент он услышал громкий счет классной дамы, долетевший оттуда, где шла репетиция, увидел конверт у себя в руке, опомнился и поспешил за девушкой.

– Постойте! – в полном отчаянии окликнул он ее.

– Да? – обернулась Катя.

– Не могли бы вы... Мне нужна ваша помощь!

– В чем? – Она все так же спокойно смотрела на него.

– Там теперь, понимаете... На репетиции... Снова у всех есть пара...

– Не понимаю.

– Эта девушка убежала... – Он махнул рукой в ту сторону, где скрылась княжна Утятин. – И значит, лишних там никого нет. Они не сразу заметят, что меня не хватает. Теперь есть немножечко времени.

– На что?

– Передать вот это. – Коля указал на конверт.

– Но я ведь уже сказала вам: Лены Денисьевой сейчас в институте нет.

– А я подожду ее. Вы только спрячьте меня куда-нибудь, чтобы я глаза никому не мозолил.

– Куда же я спрячу вас? Вы ведь не вещь.

– Ну, не прячьте! Просто укажите местечко, а я там тихонько посижу. А когда она придет, вы меня позовете.

Колю хватились только на построении во дворе. Кадеты встали в колонну по трое, чтобы покинуть Смольный, но в одном ряду оказалось всего два человека. Проведя переключку, унтер-офицер выяснил, кто у него пропал.

– Стихоплет проклятый! – выругался он и отправился на поиски Бошняка.

Вдвоем с милейшей Анной Дмитриевной он прошел по всем коридорам, заглядывая в опустевшие уже классные комнаты, побывал в столовой и даже на кухне, проверил кладовые помещения, осмотрел дворницкую – Коли нигде не было.

– А что, если ваш мальчик решил сам вернуться в казарму? – высказала резонную в ее глазах мысль милейшая Анна Дмитриевна, однако тут же была опровергнута.

– Кадет без спросу по городу один не пойдет, – отрезал унтер-офицер и задумчиво посмотрел на выглядывавших из дортуара крохотных воспитанниц самого младшего класса, который до реформы императрицы Марии Федоровны по цвету платьев носил название «кофейного». – А там у вас что? Мы туда еще не ходили.

– И не пойдем, – даже бровью не повела милейшая инспектриса. – Там одни маленькие девочки, поэтому посторонним вход заказан.

– А туда? – Интендант указал на дверь, ведущую в дортуар старшего класса.

– Туда уж тем более.

– Ну, как знаете. Мне ведь не одному отвечать. Начальство у нас хоть и разное, однако ж по такому делу спрос наверняка общий будет.

– Ваш мальчик уже ушел, – твердо ответила милейшая Анна Дмитриевна.

Через несколько минут в дортуар старшего класса заглянула Катя Ельчанинова. Обведя взглядом пустую комнату с двумя рядами кроватей, она склонилась и увидела лежавшего под одной из них Колю.

– Вы зачем туда забрались?

Коля шелохнулся и поднял голову.

– Ушли?

– Да-да, можете вылезать.

– Я подумал: а вдруг они сюда зайдут? – Он ящеркой скользнул вбок и встал рядом с кроватью. – Спасибо.

– Не стоит благодарности. Только мне интересно, что вы теперь скажете своему командиру.

– А, ерунда! – небрежно махнул рукой он, однако небрежность эта вышла у него самая неестественная.

Коля знал, что ерундой тут и не пахло. Последствия ожидали его тяжелые, скорее всего, даже по-флотски болезненные, и тем не менее иначе поступить он не мог. Слово, данное коллежскому советнику, обязывало его дожидаться Денисьеву, какие бы кары ни грозили ему. Отчаянно страшась того, что ожидало его по возвращении в Морской корпус, он все же действовал согласно своему простому пониманию чести. Впрочем, от неожиданной помощницы правду о возможных последствиях он решил скрыть, поскольку боялся, как бы она не подумала, будто он рисуется перед ней, желая выглядеть благородным героем. С целью же отвлечь ее от дальнейших расспросов он понес всякую чепуху, потому что выглядеть глупо в ее глазах он не боялся. Коля считал, что и без того она видит в нем одного только дурачка.

– Мы, Бошняки, и не в таких переплетах бывали. Батюшка мой в детстве своим пажом был у императора Павла Петровича. И, между прочим, дежурил в Михайловском замке<sup>46</sup> в ту самую ночь.

– В какую ночь?

Коля сделал глупейшее лицо из всех, на какие был способен.

– В ту самую! – трагическим шепотом объявил он. – Никто до сих пор не знает, как он ее пережил. Прямо рядом с опочивальней Государя пост его находился. Можете себе представить?!

– Нет, не могу. Послушайте, вам надо уходить отсюда. Служба для старших классов вот-вот закончится, и все придут в дортуар. Хотите, я вас в кладовке спрячу. Там, правда, темно, и крысы бывают.

– Хочу, – с готовностью кивнул Коля. – Вы только дайте мне знать, когда она придет.

---

<sup>46</sup> Михайловский (Инженерный) замок – бывший императорский дворец в центре Санкт-Петербурга. Построенный в 1797–1801 гг. как замок на воде по заказу Павла I, Михайловский замок стал местом смерти императора в ночь на 12 марта 1801 г., когда Павел был убит в своей спальне заговорщиками.

Ни на одном из посещаемых ею прежде занятий Лена Денисьева в тот день так и не появилась. Преподаватель геральдики заочно поставил ей дурную отметку за герб Корчак, эскиз которого она должна была сдать, а Коля напрасно просидел до самого вечера в кладовой комнате. Крысы поначалу тревожили его шуршанием то в одном, то в другом углу, но со временем он привык, и шуршание отчасти даже его развлекало. Несколько раз он ощущал, как что-то мимолетно касается его ног, энергично пинал темноту, отбрыкивался, неизбежно представляя крысу, ползущую вверх по сапогу и штанам, и опять затихал, чтобы не привлекать внимания. Через два или три часа после начала своего добровольного заточения он решил перейти в атаку. Крысы к тому моменту совсем осмелели, поэтому требовались уже решительные действия. Дождавшись, когда снаружи не слышно будет ни голосов, ни шагов, он резко бросился в ту сторону, где шуршало, топал изо всех сил в надежде раздавить сапогом что-нибудь живое, и всякий раз радовался, что этого не произошло. В итоге крысы все же оставили его в покое, и следующие несколько часов Коля провел пусть и скучно, зато в безопасности.

Заслышав какие-нибудь шаги, он теперь оживлялся, торопливо приводил себя в порядок, принимал непринужденную, по его мнению, позу, а потом слушал, как эти шаги удаляются и вместе с ними удаляется всякая надежда проскользнуть в казарму до закрытия главных ворот. Катя пришла выпустить его уже ближе к ночи.

– Вам лучше через дворницкую пройти, это соседняя дверь, и потом – сразу к Неве. В Монастырском переулке фонари, вас там заметят.

Коля послушно проследовал за ней.

– Не приходите сюда больше, – попросила его Катя, отпирая для него дверь на улицу. – Мне из-за вас пришлось украсть ключ.

– Я не приду, – сказал он. – Только мне нужно все-таки конверт передать.

– Но вы же хотели из рук в руки.

– Теперь, видимо, не получится. Сможете выручить в последний раз?

Катя вздохнула:

– Я ведь с самого начала предлагала так поступить.

– Вы умная, а я – болван.

В темноте она не увидела его улыбки.

– Хорошо, давайте его сюда. – Катя протянула руку, и он вложил в нее порядком уже потрепанный конверт.

– Спасибо. Вы – чудесная.

Коля медлил на пороге. За спиной у него блестела в реке луна.

– Уходите, пожалуйста. Мне надо дверь закрыть.

Он снова расплылся в счастливой улыбке и шагнул за порог.

– Только обязательно передайте. Это от поэта Федора Тютчева.

Закрыв за ним дверь, Катя задумчиво стояла несколько минут посреди дворницкой, затем стала решительно искать что-то на полках, заваленных подсобным скарбом, нашла там железную лопатку и спички, чиркнула несколько раз и подожгла конверт. Глядя на огонь, танцующий на лопатке, она вспоминала лицо Даши Тютчевой в тот момент, когда та бросилась на Денисьеву; вспоминала опустевший взгляд Анны Дмитриевны и склоненную голову ее племянницы; и только лица самого Тютчева Катя никак не могла вспомнить, словно у этого господина вовсе и не было лица.

Коля тем временем почти бежал по ночному городу, сильно размахивая руками и прерывисто выдыхая стихи, которые успел заучить, не удержавшись и заглянув как-то совсем ненадолго в конверт, пока лежал под кроватью:

*«Люблю глаза твои, мой друг,  
С игрой их пламенно чудесной,*

*Когда их приподымеешь вдруг  
И, словно молнией небесной,  
Окинешь бегло целый круг...»*

Вторую часть этого стихотворения он запоминать не стал. Она показалась ему неприличной и оскорбительной. Он если и понимал что-то про «угрюмый, тусклый огонь желанья», то это не было связано и никаким образом не могло быть связано с Катей, которая плыла сейчас рядом с ним над мостовой, а он все повторял и повторял строчки о ее глазах и был совершенно не в силах остановиться.

## 7 глава



Через двое суток после разговора в салоне у адмирала ветер в проливе переменился. Русский отряд прекратил бесцельные маневры при неполном парусном вооружении, распустил все свои крылья и дружно двинулся в сторону Портсмута. В гавань боевые суда вошли в сетке дождя, вынырнув из него подобно трем призракам в полутьме наступавшего утра. «Салют наций» из двадцати одного пушечного выстрела в тумане прозвучал глуше обычного. С корабля рейдовой службы «Экселлент», стоявшего на мертвых якорях у Китового Острова и приспособленного под канонирскую школу, тоже ударило орудие, и, хотя залп этот просто указывал на время подъема английских гардемарин, для русского отряда он прозвучал как ответное приветствие. Береговые батареи хранили молчание. Британцы не отличались вежливостью в своих водах по отношению к чужим флагам.

Вскоре началась рутинная работа и суета, вызываемая в гавани приходом крупных военных судов. Прежде всего необходимо было сдать на хранение в английское адмиралтейство около двух тысяч пудов пороха, составлявших весь боевой припас, переселить моряков на местные корабли рейдовой службы, выполняющие роль своеобразных гостиниц, завести суда в доки для осмотра и надлежащего ремонта корпуса, назначить сменные команды для ремонта парусов и такелажа, а после всего этого переделать еще тысячу дел, без которых невозможно продолжение длительного плавания на парусном корабле.

Собравшиеся в кают-компания «Ингерманланда» офицеры с неудовольствием узнали, что завтрак до начала разгрузки пороха приготовить не удалось, а поскольку любой огонь при этой процедуре на судне исключался, на горячий чай теперь можно было рассчитывать только на берегу. Закусив на скорую руку и всухомятку тем, что вестовые с виноватыми лицами натаскали из холодного камбуза на общий стол, все свободные от вахтенных обязанностей офицеры отбыли с корабля.

– Господин лейтенант! – догнал Невельского уже у самого трапа адъютант командующего. – Его превосходительство просили передать, что вы поступаете в распоряжение господина Семенова.

Невельской, словно не веря услышанному, секунду-другую смотрел на сочувственное лицо адъютанта, а затем перегнулся через борт. Там, в шлюпке, которая покачивалась далеко внизу на волнах, уже сидел господин Семенов. Подняв голову, он уверенным кивком ответил на взгляд Невельского, вынул зажатый до этого под мышкой складной цилиндр-шапокляк, ловким щелчком раскрыл его, надел и с важностью отвернулся в сторону облепленного лодочками парома, как будто сидел не в утлом суденышке, а в театральном партере в ожидании, когда дадут последний звонок.

– Надолго? – повернулся Невельской к адъютанту вице-адмирала.

– Пока не уйдем с портсмутского рейда.

Помрачневший Невельской вздохнул, натянул фуражку поглубже и стал спускаться по трапу.

Сидя в шлюпке напротив господина Семенова, которому время от времени приходилось рукой придерживать свой шапокляк, дабы посвежевший ветер не утащил в гавань эту нелепую механическую диковину, он пытался понять, с какой целью ему навязали штатского. Невель-

ской до сих пор не нашел ответа на вопрос: почему его заставили читать письмо о преступлении матери в присутствии посторонних, а теперь к этой загадке прибавилась еще и необходимость исполнять распоряжения весьма неприятного ему человека.

Сидевшие на веслах матросы тем временем заметно радовались тому, что вернулись из океана, и предвкушали знакомые им удовольствия, ожидавшие их на берегу. Единственный, кто орудовал своим веслом без воодушевления, был Завьялов. Он сидел позади господина Семенова, и Невельской иногда натыкался на его нарочито вялый и безразличный, как у пойманного осьминога, взгляд. Штатский же, напротив, любезно улыбался всякий раз, когда они встречались глазами, поэтому в конце концов пришлось уже совсем отвернуться, чтобы эту неловкость прекратить.

Глядя на приближавшийся берег и на аккуратные, словно игрушечные строения, он задумался о своих приступах необъяснимой лихорадки. Получалось, что предпоследний из них – тот, который свалил его перед выходом отряда Литке из Кронштадта, – имел место буквально за день до ареста матери. 7 октября из-за этой внезапной немочи он оказался не в силах сопроводить великого князя на открытие Географического общества в Академию наук, а 8 мать и брата арестовали. Не узнал он об этом своевременно лишь по той причине, что 10 корабли уже были в море.

Отказываясь усматривать связь между подобными совпадениями, Невельской тем не менее гнал от себя мысли о последнем приступе, случившемся несколько дней назад, и одно то, что он с усилием гнал прочь эти мысли, а в особенности – одну тревожную мысль о том, каких перемен ему теперь ожидать в своей жизни, – уже говорило в пользу его крепнущей веры в эти грядущие перемены. Оставалось только понять, насколько они будут катастрофическими.

Матросам господин Семенов приказал грести к набережной Портси, где начиналась торговая часть города. Высадившись из шлюпки неподалеку от здания таможни, он объявил Невельскому, что будет ожидать его у табачного склада Ост-Индской компании после прохождения офицером всех необходимых портовых формальностей. Самого господина Семенова подобные мелочи, судя по всему, не касались.

Обнаружив его спустя полчаса не у склада, а собственно внутри огромного здания, Невельской уже не удивился тому, что его новый начальник был окружен целой толпой немцев и голландцев, с которыми он вел оживленную беседу сразу на двух языках. Разговор шел весьма громкий, но непонятный. В Морском корпусе самые низкие отметки у Невельского были по иностранным языкам.

Не понял он и содержания двух последующих встреч, первая из которых состоялась тут же, в Портси, а для второй им пришлось пройти за стену, отделявшую торговый квартал от соседнего Саутси. Районы эти были примерно равны по площади, однако заметно отличались по своему назначению в жизни Портсмута. Один зарабатывал, другой тратил. Адмиралтейство, магазины, амбары, временное жильё для моряков со всех концов света создавали в Портси такую толкотню, гвалт и течение жизни, что человека, не имевшего ко всему этому отношения, могло запросто завертеть и без следа поглотить здесь как в настоящем водовороте. В Саутси же человек не только не мог пропасть, исчезнуть с лица земли, как это действительно и буквально случалось время от времени в соседнем квартале, напротив – тут каждый словно бы умножался на два, на три, а то и на значительно больше, и вместо одного человека вы имели дело еще с его челядью, с его капиталами, лондонскими домами и с его положением в обществе. Поэтому крепкая каменная стена между Портси и Саутси была просто необходима. Жизнь распределяет свои дары в принципе неравномерно, и тем, кого она обделила, лучше оставаться на этот счет в блаженном неведении. При таком условии счастье возможно по обе стороны стены. Что же касается вопроса о том, кто от кого прячется, возведя стену, то здесь поверхностный наблюдатель общества, конечно, скажет, что это богатые защитились от бедных, однако стоит задуматься, с какой стороны живут наиболее сильные, предприимчивые и по большей части безжа-

лостные представители человечества, и тут же становится ясным, что защищать надо именно обитателей Портси, потому что сильным защита не нужна. Была бы их воля – они ели бы своих соседей из-за стены на завтрак.

– О чем задумались, господин лейтенант? – окликнул Невельского его необычный спутник.

Они проходили в этот момент мимо элегантного двухэтажного особняка, рядом с которым остановился дорогой экипаж. Из кареты показалась изящная туфелька, потом зашуршало массивное платье, и вот на мостовую грациозно сошла больше похожая на розу, чем на человеческое существо, девушка. Она скользнула взглядом по обоим мужчинам, приветливо улыбнулась и поднялась на крыльцо. Эполеты морских офицеров, судя по всему, были для нее таким же привычным зрелищем, как и для дам в Кронштадте. Во всяком случае, она нисколько не была заинтересована иностранной военной формой. Невельской улыбнулся, прогнав от себя мысль о том, кого это прекрасное существо могло съесть на завтрак, коснулся в приветствии своего козырька и ничего не ответил господину Семенову

– Сейчас в Госпорт, на ту сторону гавани, а оттуда – в Лондон, – сказал тот, махнув рукой в сторону станции паромной переправы.

– У вас в Госпорте еще одна встреча?

– Пожалуй, можно и так сказать, – хмыкнул господин Семенов.

На пароме Невельской понял, что он имел в виду. Встреча произошла не столько в отдаленном районе Портсмута, носившем название Госпорт, сколько на пути к нему. Из бесчисленного множества яликов, шлюпок и прочих лодочек, сновавших туда и сюда по всей гавани, внезапно вынырнуло одно юркое суденышко, догнало паром и пришвартовалось к нему бок о бок. Человек, сидевший на веслах, пожал руку склонившемуся к нему господину Семенову, и они громко заговорили на польском языке. Беседа их велась до такой степени непринужденно, как будто они невзначай встретились где-то на варшавской улице и теперь обменивались мнениями о чем-то приятном и в то же время не слишком обременительном – о погоде, о девушках, о покупках на местном рынке. Незнакомец в лодочке иногда принимался хохотать от всего сердца, реагируя, очевидно, на какое-нибудь острое словцо или удачную шутку господина Семенова.

Остальных пассажиров парома, включая и Невельского, эта ситуация до известной степени обескураживала. Англичане косились на шумных иностранцев, осуждающе отворачивались и даже позволяли себе негромкие возгласы, совершенно заглушаемые, впрочем, криками чаек у них над головами и дружным смехом господина Семенова с его польским товарищем. Невельской отошел на другой край парома, чтобы не оказаться ненароком в сфере всеобщей неприязни, мгновенно очерченной жителями Портсмута вокруг веселых говорунов.

– Вы что же, Геннадий Иванович? – сказал господин Семенов, с улыбкой подходя к нему после того, как лодочка с его собеседником отчалила и уплыла прочь. – Неужели меня застеснялись?

Невельской поправил фуражку и ничего не ответил.

– Вижу, что застеснялись, – продолжал его спутник. – И совершенно напрасно. Вам следовало бы послушать наш разговор. Оказывается, русская армия недавно взяла Краков. Не одна, конечно, взяла – при поддержке австрийцев, но само по себе событие знаменательное. Краковское восстание подавлено.

– Не вижу, каким образом это может меня интересовать, – даже не пытаясь прикрыть свою неприязнь, ответил Невельской. – К тому же я ни слова не понимаю по-польски.

– Как не понимаете? – опешил господин Семенов. – А я был уверен, что вы шляхетских кровей. Разве предки ваши не из шляхты? У вас ведь и родовой герб – Корчак. Или я ошибаюсь?

– Не ошибаетесь. И тем не менее польским языком я счастья владеть не имею.

– Да как же так? – всплеснул руками собеседник Невельского. – А немецким? Или голландским?

– Ни одним из вышеозначенных.

– А я ради кого стараюсь тогда?! Что ж вы молчали? – господин Семенов был так возмущен, словно прикомандированный к нему офицер умышленно совершил тяжкий должностной проступок.

– Меня о том спрошено не было. Ровно так же, как не было и приказано подслушивать ваши разговоры.

– Да оставьте вы этот тон! – окончательно вспылит штатский. – Мы делом здесь государственным заняты. И если вам это до сих пор невдомек, то не нужно хотя бы воспитанницу Смольного тут из себя разыгрывать!

Невельской, опиравшийся до этого на перила, резко выпрямился. Господин Семенов не без основания усмотрел в этом реальную на сей раз для себя угрозу и счел благоразумным переменить разговор.

– Нет, лучше бы вы застеснялись, Геннадий Иванович, – проговорил он, качая головой. – Вот, поверьте, лучше бы вы застеснялись...

Не в силах, очевидно, справиться с желанием кого-нибудь осудить, но так, чтобы это был уже не его рассерженный спутник, господин Семенов повел взглядом вокруг себя и немедленно был вознагражден за находчивость. Англичане, по давнему своему обычаю не скоро переходящие от одного чувства к другому, все еще сильно хмурились, оскорбленные до глубины их общей английской души неподобающим поведением иностранцев.

– Заметили, как они нас не любят? – заговорил господин Семенов, радуясь, что нашел цель своему раздражению.

– Это они вас не любят, – ответил Невельской. – До меня им просто нет дела.

– Нет-нет, Геннадий Иванович, не обольщайтесь. Вы ведь в офицерском мундире иностранного для них флота, а стало быть – враг. Даже если теперь и нет между нами боевых действий, то рано или поздно все равно будут. И скорее рано, чем поздно. Они ведь здесь очень внимательны к нашим движениям на Кавказе. Убыхам оружие целыми ящиками уже со своих кораблей сгружают.

– Убыхам? – переспросил Невельской.

– Один из черкесских народов. Крайне воинственный. Живет набегами, войной, лошаадьми. Но дело даже не в кавказском вопросе, Геннадий Иванович. Англичанин иностранца не любит вовсе не потому, что думает с ним воевать. Тот ему противен уже по одному только, что он иностранец. В Англии вас будут с презрительным снисхождением терпеть, лишь если вы готовы преданно восхищаться всем английским. Стоит же вам обратить их внимание на худые стороны британской жизни – о! Помогите вам Господь! Да что там! Попробуйте просто побыть самим собой. Сделайте что-нибудь таким порядком, как вы обычно делаете это у себя дома, – тотчас узнаете все прелести английского гостеприимства. Ишь смотрят!

Господин Семенов с усмешкой кивнул в сторону сидевших неподалеку на длинной скамейке четырех мужчин и одну пожилую даму. Взгляды всех пятерых были настолько единодушны, настолько слитны и тяжелы, что составляли один общий суровый взгляд, под которым любой человек, за единственным исключением господина Семенова, должен был ощутить себя не только пойманным, но уже и приговоренным к жуткой казни преступником. Господин же Семенов от этого взгляда, напротив, светлел и наливался весельем, подобно раннему цветку, жадно впитывающему благодное и животворящее тепло солнца. Он резвился под этим взглядом как ласковое дитя, и вся его русская природа доверчиво распускалась навстречу свинцовой английской неприязни.

– Впрочем, это же не британская исключительно черта, ради справедливости вам скажу, – продолжал господин Семенов. – Французов тех же возьмите... Австрияков. Испанцев... Да

любая нация тут, в Европе, любит одно только самое себя, а все прочее отвергает. Единственно, пожалуй, русский народ, дурачок, в лепешку готов расшибиться при виде иностранца. Чуть завидит немца в России – и все, тут же размяк. Такая сразу любовь открывается. Самое лучшее ведь ему несет. И нести будет до тех самых пор, пока немец тот совсем ему на шею не сядет. Потом, правда, немцу беда. Но это уж сам виноват. Разнежился – надо поосторожней.

Господин Семенов помолчал, вспоминая, видимо, еще что-то обидное про иностранцев, а затем с новым воодушевлением продолжал:

– Вот, ученые люди полюбили у нас недавно рассуждать о загадке русской души. Статьи в журналы строчат, на философских собраниях спорят. Я прошлой осенью своими глазами видел, как два старичка, почтенные с виду, за бороды друг друга таскали в присутствии образованных дам – до того у них спор про душу русскую не задался. А дамы эти образованные, я вам доложу! – Он даже рассмеялся слегка. – Впрочем, об них отдельно говорить надо... Я пока о русской душе. Нет, Геннадий Иванович, в ней никакой загадки. Душа есть, а загадки нет. Вы меня понимаете? Вот европейская душа отсутствует. Нет ее нигде, хоть обыщись. Ум европейский есть, понимание выгоды есть, здравый смысл – о! – этого добра тут с избытком. А вот души здесь не-е-е-ет, – протянул он, отрицательно мотая головой и качая указательным пальцем правой руки с таким выражением, будто молчаливый слушатель его предлагал что-то неприличное, а господин Семенов, насквозь видя все соблазны, решительно их отвергал. – И главная загадка для меня как раз в этом! Душа, дорогой мой Геннадий Иванович, для европейца – не более чем совещательный орган. Ежели не нравится, о чем он вам говорит, всегда можно запросто отмахнуться. А у нас попробуйте так сделать! Да вас тут же за бороду! Да еще и в присутствии образованных дам!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.